

Р Джек Гинней

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ

Мастера фантазии

Джек Финней

Третий уровень

«Издательство АСТ»

1957, 1970

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Coe)-44

Финней Д.

Третий уровень / Д. Финней — «Издательство АСТ», 1957,
1970 — (Мастера фантазии)

ISBN 978-5-17-100862-8

Джек Финней (1911–1995) – знаменитый американский писатель-фантаст. Большая часть его рассказов и повестей, как и роман «Меж двух времен», написанный в 1970 году, посвящены времени и путешествиям в другие эпохи. Главное произведение писателя – «Меж двух миров» – выдержало огромное количество переизданий практически на всех языках мира. Автору удалось описать Нью-Йорк столетней давности с большой достоверностью и вниманием к деталям, точнейшей «привязкой к местности». Финней успешно работал и в других жанрах: детективы, триллеры. «Вторжение похитителей тел» – роман о зловещих инопланетянах – тоже стал легендарным и экранизировался несколько раз. А один из рассказов Финнея даже послужил основой нью-йоркской городской легенды. История о сбитом на Таймс-сквер человеке, в карманах которого нашли письмо из 1876 года, быстро распространилась и цитировалась в сотнях книг и статей как доказательство реальности перемещений во времени.

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-100862-8

© Финней Д., 1957, 1970

© Издательство АСТ, 1957, 1970

Содержание

Меж двух времен	6
1	6
2	13
3	24
4	31
5	41
6	45
7	52
8	59
9	66
10	71
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Джек Финней

Третий уровень

Jack Finney
Time and Again
The Third Level

© Jack Finney, 1957, 1970
© Перевод. О. Битов, наследники, 2020
© Перевод. К. Егорова, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

* * *

Меж двух времен

1

Все шло как обычно: я сидел без пиджака и набрасывал на бумаге эскиз куска мыла, прикрепленного клейкой лентой к верхнему углу чертежной доски. Золотистая фольга обертки была тщательно отогнута, чтобы покупатель мог прочесть большую часть названия фирмы, выпускающей именно этот сорт мыла; я перепортил полдюжины оберток, прежде чем добился желаемого эффекта. Идея заключалась в том, чтобы показать продукт готовым к употреблению: возьмите его в руки – и, как говорилось в сопроводительном тексте, «ваша кожа станет нежна и на бархат похожа», а моя задача состояла в том, чтобы изобразить его, это мыло, на бумаге в разных ракурсах.

Работа была не менее скучной, чем ее описание, и я решил передохнуть и взглянуть, благо сидел у окна, со своего двенадцатого этажа на крохотные головы прохожих внизу, на тротуаре Пятьдесят четвертой улицы. Был солнечный, пронзительно ясный день в середине ноября, и так хотелось окунуться в него, попасть туда, на улицу, и чтобы впереди лежал целый день и не маячило никаких дел – никаких обязательных дел...

У монтажного стола стоял Винс Мэндел, наш шрифтовик, худой и смуглый, – наверно, как и я, он чувствовал себя здесь сегодня взаперти; в руках он держал распылитель, а на носу у него красовалась марлевая хирургическая маска. Он наносил слой краски телесного цвета на фотографию девицы в купальном костюме, вырезанную из журнала «Лайф». Результатом его трудов должна была явиться та же девица, но уже без купальника – совершенно голенькая, не считая ленты с надписью «Мисс Арифмометр» от плеча к поясу. Такого рода метаморфозы стали для Винса излюбленным занятием в рабочее время с тех самых пор, как он изобрел этот фокус; когда ретушь будет закончена, фотография, вероятно, займет место в ряду других подобных творений на доске объявлений нашего художественного отдела.

Фрэнк Дэпп, заведующий отделом, кругленький деятельный человечек, пробежал рысцой к себе в кабинет, отгороженный в углу общего загона. По пути он выбил оглушительную дробь по дверце большого железного шкафа, где мы держали всякие подсобные материалы, и издал громоподобный рык. Это был привычный для него способ выпустить излишки энергии – подобно тому, как паровоз выпускает излишки пара. Ни Винс, ни я, ни Карл Джонас, работавший за соседней доской, даже не подняли головы.

Был самый обыкновенный день, обыкновенная пятница, и оставалось еще двадцать минут до обеда, пять часов до конца работы и начала уик-энда, десять месяцев до отпуска и тридцать семь лет до пенсии. И тут зазвонил телефон.

– Какой-то мужчина спрашивает вас, Сай, – сообщила Вера, телефонистка с коммутатора. – Но заранее он с вами не договаривался...

– Ничего. Это мой родственник. Он должен мне кое в чем помочь.

– Вам уже никто не поможет, – сказала Вера и повесила трубку.

Я направился к двери, размышляя, кто бы это мог быть; художник рекламного агентства, как правило, не страдает от избытка посетителей. Главная приемная находилась этажом ниже, и я пошел самой длинной дорогой, через бухгалтерию и отдел печати, но ни одной новой девушки, достойной внимания, не обнаружил.

Фрэнк Дэпп называл главную приемную Микро-Бродвеем. Ее украшали настоящий восточный ковер, несколько стендов со старинным серебром из коллекции жены одного из совладельцев агентства и матрона с волосами цвета старинного серебра, в обязанности которой входило передавать Вере просьбы посетителей. Когда я вошел, мой посетитель стоял и

рассматривал одну из наших реклам, развешанных в рамках по стенам. Я не люблю признаваться в этом, но при встрече с незнакомыми людьми я робею, хотя и научился кое-как маскировать свою робость. Вот и теперь, едва он обернулся на звук шагов, я ощутил знакомый легкий страх и мимолетное замешательство. Он был лысый и низкорослый, его макушка едва доходила до уровня моих глаз, а во мне самом-то росту едва сто восемьдесят. На вид я дал бы ему лет тридцать пять – так я решил, приближаясь к нему, и еще отметил, что у него мощная грудь и весит он явно больше меня – а ведь не толст. Одет он был в оливково-зеленый габардиновый костюм, который совсем не шел к его розовым щекам и рыжим волосам. «Надеюсь, он не коммивояжер», – подумал я. Тут он улыбнулся – улыбка у него оказалась настоящая, она сразу понравилась мне, и волнение мое улеглось. «Ну нет, – сказал я себе, – этот ничем не торгует» – и не мог бы ошибиться сильнее, чем ошибся тогда.

– Мистер Морли?

Я кивнул, улыбнувшись ему в ответ.

– Мистер Саймон Морли? – повторил он вопрос, будто опасался, что у нас в агентстве несколько человек с фамилией Морли, и хотел убедиться, что я именно тот, кто ему нужен.

– Да.

Но он все еще не был удовлетворен.

– Вы, случайно, не помните свой воинский номер?

Взяв меня под локоть, он двинулся из приемной в сторону лифтов, подальше от секретарши. Я отбарабанил свой номер, даже не успев удивиться, почему это я отвечаю ему, незнакомому человеку, без всяких встречных вопросов.

– Все верно! – сказал он с одобрением, и я почувствовал себя польщенным. Мы уже вышли в коридор, поблизости никого не было.

– А вы что, из армии? Если да, то у меня сегодня штатское настроение...

Он улыбнулся, но, как я про себя отметил, оставил вопрос без ответа.

– Меня зовут Рюбен Прайен, – заявил он и выждал, словно думал, что я узнаю его по имени, потом продолжал: – Конечно, следовало позвонить и договориться с вами о встрече, но я очень спешу, вот и рискнул заскочить к вам...

– Это не страшно, я тут ничем, кроме работы, не занят. Чем могу быть полезен?

Он скорчил смешную физиономию: мол, объяснить сие не так-то просто.

– Мне придется занять у вас около часа времени. И не откладывая, если можно. – Он и сам был, видимо, слегка смущен. – Вы уж извините меня, но... поверьте мне пока на слово, и я буду вам очень признателен...

Тут-то я и попался – он меня заинтересовал.

– Ладно. Сейчас без десяти двенадцать. Вы не хотите перекусить? Могу уйти на обед чуть пораньше...

– Отлично, только я не хотел бы разговаривать в помещении. Давайте возьмем сэндвичи и пойдем в парк. Договорились? Сегодня не очень холодно.

Я кивнул.

– Схожу за пальто и вернусь к вам сюда. Вы меня просто заинтриговали. – Я постоял в нерешительности, присмотрелся внимательно к этому приятному, крепко сбитому лысому человеку, а затем высказался начистоту: – Да вы, наверно, и сами это знаете. Вы ведь не в первый раз проделываете такую штуку, не правда ли? Включая и показное замешательство...

Он усмехнулся и слегка прищелкнул пальцами.

– А я-то думал, что у меня получается! Что ж, придется еще порепетировать перед зеркалом. Идите же за своим пальто – мы теряем время...

Мы вышли на Пятую авеню и пошли на север, мимо немислимых зданий из стекла и стали, стекла и блистающего металла, стекла и мрамора и зданий постарше, в которых больше камня, чем стекла. Умопомрачительная, прямо невероятная улица; я никак не могу к ней при-

выкнуть, да, должно быть, и никто не может. Есть ли в мире другая такая улица, где гряда облаков отразилась бы целиком в окнах одной стены одного-единственного дома да еще и место осталось бы? Сегодня на Пятой авеню было особенно хорошо, температура поднялась градусов до десяти, и воздух наполняла приятная прохлада поздней осени. К тому же наступил полдень, и из всех контор, мимо которых мы проходили, выбегали, пританцовывая, красивые девушки, и я подумал: как жаль, что с большинством из них я никогда не познакомлюсь и даже не перекинусь словом. Вот тут-то мой маленький лысый провожатый и заговорил:

– Я сейчас выскажу то, с чем пришел к вам, а потом вы можете задавать вопросы. Не исключено, что я даже отвечу на некоторые из них. Однако все, что я вправе сообщить вам по существу, затянется самое большее на два квартала. Я проделывал это уже тридцать с чем-то раз, но до сих пор не знаю, какие выбрать выражения, чтобы они звучали не как совершенный бред. Ну ладно, слушайте.

Дело касается некоего проекта. Пожалуй, следует сказать: правительственного проекта. Секретного, разумеется, – впрочем, в наше время несекретных дел у правительства просто не осталось. По моему убеждению и по убеждению горстки осведомленных лиц, этот проект важнее, чем все ядерные программы, космические исследования, спутники и ракеты, вместе взятые, важнее, хотя и значительно меньше по масштабам. Скажу сразу, что не могу позволить себе даже намека на то, какой характер носит этот проект. А вы сами, уж поверьте мне, ни за что не догадаетесь. Зато могу и хочу сказать другое: ни одно предприятие, когда-либо затеянное людьми за всю сумасшедшую историю человечества, не идет ни в какое сравнение с этим проектом по смелости. Когда мне впервые случилось осознать его суть, я две ночи не спал, и я ничуть не сгущаю краски – не спал в буквальном смысле слова. Да и на третью ночь уснул только после снотворного, а ведь считаюсь человеком уравновешенным и спокойным. Вы слушаете меня?..

– Слушаю. Если я вас правильно понял, вы открыли наконец нечто еще более интересное, чем любовь.

– Может, со временем вы и сами убедитесь, что не преувеличили. Даже путешествие на Луну покажется пресным по сравнению с тем, что вам, возможно, предстоит испытать. Это величайшее из приключений. Я отдал бы все, что у меня есть, и все, что когда-нибудь будет, просто за то, чтобы побывать в вашей шкуре, отдал бы годы жизни за один только шанс как-то подменить вас. Вот, собственно, и все, дружище Морли. Я мог бы говорить еще и буду говорить еще, но, в сущности, все, что я должен был сказать, я уже сказал. Кроме одного: вас приглашают участвовать в этом проекте. Приглашают не из-за каких-то особых ваших добродетелей или достоинств, а просто в силу слепого счастья. Теперь вы вольны принять это предложение или отказаться. Дело ваше. Понимаю, что предлагаю кота в мешке, но знали бы вы, какого кота!.. Тут на Пятьдесят седьмой улице неплохой кулинарный магазин – какие сэндвичи вы любите?..

Мы купили сэндвичей и яблок и прошли еще два квартала до Сентрал-парка. Прайен ждал хоть какого-нибудь ответа, и с полквартала мы прошагали в полном молчании, потом я раздраженно пожал плечами – я и хотел бы быть вежливым, но не придумал никакого ответа.

– Что, по-вашему, я должен вам сказать?

– Что хотите.

– Ну ладно: почему я?

– Ну что ж, как выражаются политические деятели, я рад, что вы задали этот вопрос. Нам нужен не просто любой человек, а такой, который обладает определенными качествами. Довольно специфическими качествами, и список их достаточно велик. Кроме того, эти качества должны быть представлены, так сказать, в определенной пропорции. Сначала мы этого не знали. Думали: подойдет почти любой энтузиаст, если он умен и молод. Например, я. Но теперь мы знаем – или думаем, что знаем, – что наш кандидат должен отвечать определенным требованиям и физически, и психологически, и по темпераменту. У него должен быть особый

взгляд на вещи. Он должен обладать способностью, оказывается, довольно редкой, видеть все вокруг таким, как оно есть, и одновременно таким, как оно могло бы быть. Если только вы понимаете, что я имею в виду. Может, и понимаете. Может статься, нам нужен именно такой взгляд на мир, какой присущ художнику. Это лишь некоторые из требований к кандидату – есть и другие, но о них я пока умолчу. Вся беда в том, что по той или иной причине нашим требованиям не удовлетворяет почти никто на Земле. Единственным целесообразным способом выявления возможных кандидатур оказалось изучение армейских тестов для новобранцев – вы их, наверно, помните...

– Смутно.

– Уж и не знаю, сколько подобных тестов пришлось проанализировать, это вне моей компетенции. Вероятно, миллионы. На первой стадии применяются компьютеры – они отделяют всех, кто явно не подходит. А таких абсолютное большинство. После этого в дело включаются живые люди. Мы не хотим пропустить ни одной возможной кандидатуры, потому что выяснили, что их чертовски мало. Мы просмотрели бог знает сколько миллионов личных дел на военнотружущих обоих полов. Почему-то среди женщин кандидаты выявляются чаще, чем среди мужчин; хотелось бы, чтобы в армии было больше женщин. Но так или иначе, некто Саймон Л. Морли с названным вами многозначным воинским номером похож на вероятного кандидата. Как случилось, что вы дослужились только до ефрейтора?

– Отсутствие наклонностей к шагистике и прочим идиотским вещам.

– Кажется, это называется «что ни шаг, то с левой»? Из всех выявленных нами кандидатов – а их всего-то около сотни – примерно пятьдесят выслушали то же, что и вы до сих пор, и наотрез отказались. Пятьдесят других согласились, но более сорока из них провалились на последующих испытаниях. И вот после чертовой уймы работы у нас осталось пятеро мужчин и две женщины, которые, быть может, подойдут. Большинство из них, если не все, вероятно, не смогут выполнить первое же настоящее задание – у нас нет ни одного, в ком мы можем быть действительно уверены. Мы хотели бы заполучить кандидатов двадцать пять, если сумеем. Хотели бы сотню, да не верим, что столько наберется во всем мире; во всяком случае, мы не ведаем, как их разыскать. И вот вы, возможно, один из немногих...

– Ну и ну!..

У Пятьдесят девятой улицы мы остановились по сигналу светофора, я увидел своего собеседника в профиль и сказал:

– Рубен Прайен. Ну да! Вы же играли в регби. Когда это было? Лет десять назад...

Он повернулся ко мне с улыбкой.

– Вспомнили!.. Только было это пятнадцать лет назад – я вовсе не так завидно молод, как вам, наверно, кажется.

– За кого же вы играли? Что-то я не припомню.

Зажегся зеленый свет, и мы сошли с тротуара на мостовую.

– Уэст-Пойнт ¹.

– Так я и знал! Значит, вы в армии?

– Ну да...

Я затряс головой.

– Тогда прошу прощения, но меня вы не заманите. Придется вам вызвать пятерку дюжих ребят из военной полиции и тащить меня волоком, и то я буду орать и лягаться всю дорогу. Перспектива бессонных ночей в армии меня не соблазняет, я свое отслужил.

Мы пересекли улицу, поднялись на тротуар, потом свернули на грунтовую аллею Сен-трал-парка и пошли вдоль нее, высматривая свободную скамейку.

¹ Уэст-Пойнт – место в штате Нью-Йорк, где расположены Академия генерального штаба американской армии и некоторые другие военные учреждения. – *Здесь и далее примеч. пер.*

– Чем же плоха армия? – спросил Рюбен с напускной обидой.

– Вы сказали, вам понадобится час. Мне потребовалась бы неделя, чтобы только перечислить по пунктам...

– Ладно, не надо в армию. Идите во флот, мы вам присвоим любое звание от мичмана до капитан-лейтенанта. Или в министерство внутренних дел, – Рюбен снова был в хорошем настроении, – в министерство связи, если хотите. Выбирайте себе любое правительственное ведомство, кроме Госдепартамента и дипломатического корпуса. Любую должность, лишь бы она была не выборная и с окладом не выше двенадцати тысяч долларов в год. Потому что, Сай, – можно мне называть вас Сай?..

– Разумеется.

– А вы зовите меня Рюб, если хотите. Так вот, Сай, неважно, где вы будете числиться в штате. Когда я говорю, что проект секретный, я имею в виду именно то, что говорю. Наш бюджет рассыпан по бухгалтериям всевозможных департаментов и бюро, а сотрудники наши числятся где угодно, только не у нас. Официально нас просто не существует, а я – да, я все еще военный. Служба идет, пенсия приближается, и, кроме того, как ни странно, но армия мне нравится. Правда, мундир мой висит в шкафу, честь я никому сейчас не отдаю, а приказы по большей части получаю от историка, временно откомандированного из Колумбийского университета... На скамейках в тени прохладно, давайте сядем на солнышке.

Мы выбрали местечко метрах в десяти от аллеи подле большого черного валуна, присели на солнечной стороне, откинувшись на теплый камень, и развернули свои сэндвичи. К югу, западу и востоку вздымались громады зданий, нависали над границами парка, как банда, готовая напасть на него и залить всю зелень бетоном.

– Вы, наверно, еще в школу ходили, когда читали про Рюба Прайена, быстрогого полузащитника...

– Наверно. Мне сейчас двадцать восемь.

Я откусил кусок сэндвича.

– Вам будет двадцать восемь одиннадцатого марта, – сказал Рюб.

– Вы и это знаете? Ваши сыщики не даром хлеб едят...

– Это же у вас в армейском личном деле записано. Но нам известно кое-что, чего там нет. Например, мы знаем, что два года назад вы развелись с женой, и знаем почему.

– А вы не могли бы мне рассказать почему? Я лично все еще не знаю.

– Вы все равно не поймете. Нам также известно, что за последние пять месяцев вы встречались с девятью женщинами и только с четырьмя из них больше одного раза. Что за последние полтора месяца все отчетливее выделяется одна. Тем не менее мы полагаем, что для второго брака вы еще не созрели. Может, вы и подумываете об этом, но, наверно, все еще боитесь. У вас есть два приятеля, с которыми вы время от времени обедаете вместе или ужинаете. Родители ваши умерли. У вас нет ни братьев, ни...

Кровь бросилась мне в лицо; я почувствовал это сам и постарался, чтобы мой голос звучал как можно ровнее.

– Рюб, – сказал я, – лично вы мне нравитесь. Но, мне думается, я могу спросить: кто дал вам или кому бы то ни было право совать свой нос в мои дела?

– Не сердитесь, Сай. Не стоит. Мы не так уж далеко залезли. Да и не делали ничего сверхъестественного и ничего противозаконного. Мы не то что иные правительственные учреждения, которые я мог бы назвать, – мы не считаем себя подотчетными только господу богу. Мы не подслушиваем телефонных разговоров, не устраиваем тайных обысков. Короче, закон и про нас писан. Но перед тем как нам расстаться, я хотел бы просить у вас разрешения обыскать вашу квартиру до того, как вы туда сегодня вернетесь.

Я плотно сжал губы и покачал головой. Рюб улыбнулся, наклонился ко мне и тронул меня за руку.

– А я просто дразню вас. Но надеюсь, вы еще передумаете. Ведь я предлагаю вам чертовски увлекательную вещь, самую замечательную из всего, что когда-либо пережито человеком.

– И не хотите сказать мне о ней ничегошеньки? Удивляюсь, как вы семерых-то нашли. Даже одного...

Рюб усталился на траву, размышляя, что бы мне еще сказать, потом опять взглянул на меня.

– Мы хотели бы знать больше, чем знаем, – сказал он отдельно. – Хотели бы подвергнуть вас некоторым испытаниям. В то же время нам, кажется, и сейчас известно кое-что о вас, о строе ваших мыслей. Например, у нас есть две картины кисти Саймона Морли, приобретенные прошлой весной на выставке вашего художественного отдела, плюс одна акварель и несколько эскизов – за все заплачено сполна. Нам известно в общем, что вы за человек, да и сегодня я кое-что узнал. Думаю, что могу вам сказать: я почти гарантирую вам, нет, я, пожалуй, прямо гарантирую, что если вы примете мои слова на веру и подпишете контракт на два года, то – при условии, что благополучно пройдете дальнейшие испытания, – скажете мне спасибо. Увидите, что я был прав. И скажете даже, что вас бросает в дрожь при мысли о том, как легко вы могли бы упустить свой шанс. Как по-вашему, Сай, сколько всего людей когда-либо родилось на свет? Пять-шесть миллиардов? Так вот, если вы выдержите испытания, то станете одним из десятка, а может, и вообще одним-единственным на все эти миллиарды, кто пережил величайшее приключение за всю историю человечества!..

Тирада произвела на меня впечатление. Я молча жевал яблоко, уставившись в одну точку. Внезапно я повернулся к нему:

– А ведь вы так и не сказали ни черта сверх того, с чего начали!..

– Вы это заметили? Некоторые не замечают. И это, Сай, все, что я вправе сказать!

– Вы просто скромничаете. У вас все расписано как по нотам. Черт возьми, Рюб, что вы хотите, чтобы я вам сказал? «Да, согласен, где расписаться?..»

Он кивнул.

– Трудно, я знаю. Но другого способа просто нет, вот и все. – Он посмотрел на меня пристально и тихо сказал: – Вам-то легче, чем многим другим. Вы не женаты, детей у вас нет. И работа ваша вам осточертела – мы и это знаем. Так оно же естественно! Работа у вас действительно ерундовая, и делать-то ее не стоит. Вам скучно, вы недовольны собой, а время идет. Через два года вам стукнет тридцать, а вы все еще не решили, что делать в жизни...

Рюб откинулся на теплый камень и отвел взгляд в сторону – на аллею, на людей, снующих туда-сюда под полуденным осенним солнцем; он давал мне возможность поразмыслить. А ведь он только что сказал сущую правду... В конце концов я повернулся к нему снова – он только того и ждал.

– Рискните, – предложил он. – Сделайте глубокий вдох, закройте глаза, зажмите нос и ныряйте! Или вы предпочитаете по-прежнему продавать мыло, жевательную резинку и дамские лифчики или что там еще у вас в репертуаре? Вы же молодой человек, черт побери!..

Он потер руки, стряхивая крошки, затем легко, по-спортивному быстро встал. Я тоже встал. Удивляясь собственному раздражению, спросил:

– Не слишком ли многого вы хотите: чтобы я доверился вот так, на слово, совершенно незнакомому человеку? А если я влезу в ваше таинственное предприятие и окажется, что там нет ничего интересного?

– Исключено.

– Ну а если?..

– Как только мы удостоверимся, что вы действительно нам подходите, мы расскажем вам, в чем дело, но мы должны быть уверены, что вы с нами. Нам нужно ваше предварительное согласие – только так и не иначе.

– Мне придется куда-нибудь поехать?

– Со временем. Придумав версию для знакомых. Ни к чему, чтобы кто-нибудь начал вдруг допытываться, куда запропастился Сай Морли.

– Это опасно?

– Видимо, нет. Но, сказать по правде, мы просто не знаем.

Направляясь к выходу из парка у перекрестка Пятой авеню и Пятьдесят девятой улицы, я размышлял о том, как сложилась моя жизнь в Нью-Йорке: два года назад я приехал сюда в поисках куска хлеба, чужак-художник из Буффало с папкой эскизов под мышкой. Время от времени я обедал с Лэнни Хайндсмитом, художником, которого встретил на первой своей нью-йоркской работе; после обеда мы обычно шли с ним в кино, или в кегельбан, или еще куда-нибудь. Случалось, и довольно часто, что я играл в теннис с Мэттом Флэксом, бухгалтером из моего нынешнего агентства; кроме того, Мэтт ввел меня в компанию, где каждый понедельник собирались и играли в бридж. Пэрл Москетти служила бухгалтером – экспертом по парфюмерии, – это тоже на первой моей работе; с ней мы встречались, а иногда проводили вместе весь уик-энд, но в последнее время я ее, признаться, не видел. Вспомнил я и Грейс Энн Вундерлих, приезжую из Сиэттла, с которой ненароком познакомился в баре «Лонгчемпс», что на углу Сорок девятой улицы и Мэдисон-авеню; она сидела за отдельным столиком и плакала от одиночества над своим коктейлем. С тех пор при каждой встрече мы слишком много пили, по-видимому следуя примеру первого раза. Но больше всего я думал о Кэтрин Мэнкузо, с которой теперь виделся все чаще и чаще и которой, как начал подозревать, когда-нибудь сделаю предложение.

Думал я и о своей работе. В агентстве мной были довольны, и зарабатывал я неплохо. Конечно, не о таком я мечтал, когда учился в художественной школе в Буффало, но, собственно, я тогда и сам не представлял, чего хочу.

В общем и целом все у меня складывалось отнюдь не дурно. Не считая того, что в этой моей жизни, как и в жизни большинства моих знакомых, зияла огромная дыра, какая-то чудовищная каверна, и я понятия не имел ни о том, как ее заполнить, ни даже о том, что могло бы ее заполнить. Рюбу я сказал:

– Бросить работу. Бросить друзей. Исчезнуть. Почему я знаю, что вы не какой-нибудь новоявленный работоговец?

– А что, похож?

Выйдя из парка, мы опять остановились у перекрестка.

– Ну вот что, Рюб, – сказал я, – сегодня пятница. Можно мне хотя бы подумать? Субботу и воскресенье. Не надейтесь, что я соглашусь, но в любом случае дам вам знать. Не представляю себе, что еще сказать вам сию минуту...

– Как насчет разрешения на обыск? Я хотел бы сразу же позвонить из ближайшего автомата, вон из «Плазы», – он кивнул на старую гостиницу по другую сторону Пятьдесят девятой улицы, – и не откладывая послать человека к вам домой...

Я вновь ощутил, что к лицу приливает кровь.

– Что вы будете там искать? Сами не знаете?

Он кивнул.

– Если там есть письма, он их прочтет. Если что-то припрятано – найдет.

– Ладно, черт бы вас побрал! Валяйте! Только ни шиша интересного он там не отыщет!..

– Знаю, – Рюб прямо-таки потешался надо мной. – Он и смотреть не станет. Никому я звонить не собираюсь. Никто не будет обыскивать вашу халупу, да никому это и не нужно.

– Какого же дьявола вы мне морочите голову?

– А вы не догадываетесь? – С минуту он пристально глядел на меня, потом широко улыбнулся. – Вы еще не догадываетесь и даже не поверите мне, но дело в том, что решение вы уже приняли.

2

В субботу с утра Кейт и я поехали на денек в Коннектикут. Погода держалась ясная, солнечная – такой долгой осени я и не припомню. Мы спешили воспользоваться ею, пока не поздно, и отправились в путь на принадлежащей Кейт таратайке. Это была старая-престарая таратайка с подножками, откидным верхом и выступающим радиатором, и хотя Нью-Йорк – город мало приспособленный для автовладельцев, Кейт все-таки держала ее: машина точнехонько втискивалась в узкое пространство между домами близ ее магазинчика, если, нарушив правила движения, въехать на тротуар. Правда, забираться в машину и выбираться из нее приходилось перелезая через багажник, зато не надо было платить за гараж, что оказалось бы Кейт не по средствам.

У нее был крохотный антикварный магазин на Третьей авеню, в районе Сороковых улиц. Как-то раз мне понадобилась для очередной рекламы старинная настольная лампа, и я подошел к магазинчику Кейт и остановился у витрины, а она в ту минуту доставала оттуда какую-то безделушку. Я взглянул на Кейт: интересная девушка, густые темно-каштановые волосы медного, но не рыжего оттенка, слегка веснушчатая кожа, карие глаза, какие и должны быть при таких волосах. Но приворожило меня не лицо, вернее, не черты лица, а его выражение. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять: такое лицо принадлежит очень хорошему человеку. И, наверное, поэтому, едва она взглянула на меня, я набрался смелости и, прежде чем сообразил, что именно этой смелости мне обычно и не хватает, сложил пальцы щепоткой и послал ей в витрину воздушный поцелуй, чуть скосив глаза. Она улыбнулась, а я, пока не растерял еще непривычную смелость, вошел в магазин в надежде, что найду какие-нибудь подходящие слова. И нашел-таки: я заявил ей, что мне нужна новая наполеоновская треуголка, поскольку прежнюю у меня украли. Она опять улыбнулась, окончательно доказав мне доброту своей натуры, и мы разговорились. И хотя мое предложение пойти выпить по чашке кофе было тогда отвергнуто, я вернулся на следующий день, и мы поужинали вместе...

Не стану пересказывать здесь того, что касается только Кейт и меня. Я читал немало таких описаний – со всеми и всяческими подробностями, без купюр; подчас, когда это было хорошо написано, мне даже нравилось то, что я читал. Однако сам я человек другого склада, и точка. Я не хотел бы, я просто не могу себе представить, чтобы все знали обо мне все. Мне нравится об этом читать, но у меня нет ни малейшего желания это описывать. Кроме того, ничего особенного я и не утаиваю. Так что если вам померещится, что вы что-то такое видите между строк, то, может, вы и правы, а может, и нет. В любом случае не подробности наших отношений с Кейт составляют предмет моего рассказа.

Мне казалось, что за субботу и воскресенье я и не вспоминал толком о Рюбе и его предложении. Тем не менее в понедельник, в два тридцать пополудни, покончив с последним эскизом из «мыльной серии», я зашел в кабинетик к Фрэнку Дэппу, положил эскизы ему на стол и уже повернулся, чтобы уйти, но вместо того открыл рот и не без удивления услышал, что прошу расчет. Мне удалось кое-что накопить, сказал я Фрэнку, и теперь, пока еще не поздно, я хочу посмотреть, не получится ли из меня серьезный художник. Это была ложь, и тем не менее я о чем-то таком, случалось, подумывал.

- Хотите заняться живописью? – спросил Фрэнк, откинувшись на спинку стула.
- Нет. В наше время живопись становится все более абстрактной и беспредметной.
- Вы разве антиабстракционист?

– Да нет. Пожалуй, я даже поклонник Мондриана ², хоть и считаю, что он в конце концов зашел в тупик. Если у меня и есть какие-то наклонности, то разве к бытовым сюжетам. Судя по всему, займусь графикой.

Фрэнк задумчиво кивнул. Он и сам мечтал о том же, но у него было двое детей-школьников, и скоро им придет пора поступать в колледж. Он сказал, что если мне так уж приспичило, то я могу уйти, как только сдам текущую работу, да и вообще он хотел бы по такому случаю выпить со мной на счастье, и я сказал спасибо, чувствуя себя свиньей из-за того, что солгал ему, и спустился на лифте в вестибюль, к телефону-автомату. Войдя в будку, я набрал номер, который дал мне Рюб.

Соединиться с ним оказалось нелегким делом. Сперва мне ответила женщина, потом мужчина, потом пришлось подождать еще минуты две, и телефонистка потребовала, чтобы я опустил еще монету. Наконец к аппарату подошел Рюб, и я сказал:

– Звоню вам, чтобы предупредить, что, если я пойду на эту затею, мне придется поделиться с Кэтрин...

– Ну что ж, пока мы не убедимся в том, что вы нам подходите, вам будет нечем особенно-то делиться. Если окажется, что вы не подходите, мы извинимся за беспокойство, и в таком случае не возникнет необходимости о чем-либо с ней говорить. Вас это устраивает?

– Вполне.

– Если же вы действительно станете полноправным участником проекта и узнаете, чем мы тут занимаемся... – Он помедлил. – Ну так, черт побери, скажете ей, если вам так уж этого хочется. У нас есть двое женатых, и жены их в курсе дела. Мы взяли с них подписку о неразглашении и надеемся, что все будет в порядке.

– Ладно. А что, если она проболтается? Или я сам? Все-таки интересно.

– Ночью к вам по дымоходу спустится некто в черном трико и в маске и выстрелит в вас из бесшумного пневматического ружья парализующей стрелой. Затем он замурует вас в прозрачный пластмассовый куб до 2001 года. О господи, да ничего не будет! Думаете, вас прикончит ЦРУ или еще что-нибудь в таком духе? Все, что мы можем, так это подбирать людей, которым, по нашему мнению, стоит доверять. А вашу Кэтрин мы, между прочим, видели и кое-что о ней остороженько разузнали. Если начистоту, то из вас двоих я бы скорее доверился ей, чем вам. Ну, так по рукам?

Был соблазн выдержать паузу, но я не стал кокетничать.

– По рукам.

– Хорошо. В первый же свободный день приезжайте к нам часам к девяти утра. Запишите адрес...

И вот три дня спустя, в четверг утром, в начале десятого, слишком взволнованный, чтобы высадить в такси, я шел под дождем – хорошая погода, увы, кончилась – и искал адрес, который назвал мне Рюб. Недоумение мое все возрастало: я находился в северо-западной части города, в районе небольших фабрик, мелкооптовых фирм и мастерских, механических и переплетных. По обеим сторонам улицы, впритык друг к другу, теснились машины, поставленные правыми колесами на тротуар. Сам тротуар был захламен мокрой бумагой, мятыми картонными стаканчиками, битым стеклом, и, кроме меня, на улице не было ни души. Сверяясь с адресом, я шел на запад, к реке. Прошел мимо грязного, некогда оштукатуренного здания: в окнах виднелись штабеля картонных ящиков, а вывеска оповещала: «Баз Баннистер, световые рекламы». Следующими были «Братья Фиоре, новинки оптом»: на двери красовался висячий замок, а в подъезде лежала разбитая бутылка из-под вина. Напротив, по другую сторону пустынной

² Мондриан Питер Корнелий (1872–1944) – голландский художник, живший и работавший в основном в Париже; считается одним из основоположников «чистого абстракционизма».

улицы, тянулся металлический сетчатый забор, а за ним ржавеющие под дождем пирамиды автомобильных кузовов, побывавших под прессом.

Я начинал подумывать, что пал жертвой розыгрыша и что Рюб Прайен просто... кто? Актер, нанятый специально для того, чтобы разыграть меня? Вряд ли – и все же если адрес, который он дал мне, действительно существовал, то приходился на следующий квартал, а этот квартал занимало одно огромное шестиэтажное здание из красного, почерневшего от сажи кирпича; здание венчала обветренная деревянная водонапорная башня, а чуть пониже крыши шла выцветшая белая надпись: «Братья Бийки, перевозки и хранение грузов, 555–8811», и, судя по виду надписи, ее не обновляли много лет.

Окон в здании не было вовсе, кроме двух на ближнем ко мне углу. Стекло зеркальных витрин, расположенных на уровне улицы, несло на себе облезлые золотые буквы: «Братья Бийки». Сквозь стекло просматривалась маленькая контора: за столом у окна сидела девушка и выбивала счета на электрической счетной машине. На кирпичной стене, обращенной ко мне, краской в прямоугольной рамке было обозначено: «Междугородные и местные перевозки. Складские работы и хранение грузов. Подряды по всем объединенным грузовым автолиниям», а внизу у железных ворот стоял зеленый фургон с той же надписью: «Братья Бийки, перевозки и хранение грузов». Двое в белых спецовках кидали тюки одеял защитного цвета в заднюю дверь фургона.

Мне ничего не оставалось, как подойти к зданию, хоть я и знал заранее, что номер будет не тот, который дал мне Рюб. Так оно и оказалось. Я прошел мимо и двинулся дальше под холодным дождем, вдоль обшарпанной кирпичной стены. Между стеной и тротуаром из узкой полоски утрамбованной земли выбивались хилые обломанные кустики. За их жесткие веточки цеплялись обрывки целлофана, на стене краскораспылителем были выведены похабные слова, и я начал даже размышлять, хватит ли у меня духу попроситься у Фрэнка обратно на работу.

В самом конце здания меня ждала простая деревянная дверь с потертой медной ручкой и замочной накладкой. Серая краска потрескалась и местами слезла вообще, а дверь, казалось, не открывали годами. Однако над ней на мокрых кирпичах – белые цифры облупились настолько, что почти не разобрать, – был нанесен нужный мне номер. Я постучал в дверь. Никакого ответа, лишь откуда-то сверху доносился будничный грохот большого города да дождь барабанил по капотам и крышам машин у меня за спиной. Я не верил, что кто-нибудь отзовется на мой стук, не верил, что там, за дверью, есть кто-то, кто мог бы отозваться.

Но я ошибся. Ручка повернулась, дверь открылась, и на пороге вырос черноволосый молодой человек в белой спецовке; над нагрудным кармашком спецовки красными нитками было вышито имя Дон, а в руке он держал номер «Спортс иллюстрейтед».

– Привет, – сказал он. – Заходите. Ну и погода!

И я вошел. Мы очутились в тесной, не больше десяти квадратных метров, комнатухе без окон, освещенной лампами дневного света; там был письменный стол, вращающееся кресло и три облезлых дубовых стула с прямыми спинками. На стене висел фирменный календарь «Братья Бийки» и несколько фотографий – улыбающиеся шоферы и грузчики у вереницы фирменных грузовиков.

– Ну, мистер, – сказал человек в спецовке, садясь за стол, – так чем можем служить? Перевозки? Хранение?..

Я ответил, что мне нужен Рюб Прайен, в глубине души опасаясь, что он посмотрит на меня с недоумением; однако он спросил мою фамилию, набрал номер и, показав подбородком в сторону крючков на стене, предложил:

– Повесьте плащ и шляпу. – Затем в телефон: – Мистер Морли спрашивает мистера Прайена. – Выслушав ответ, сказал: – Хорошо, – и повесил трубку. – Сейчас он придет. Чувствуйте себя как дома...

С этими словами молодой человек откинулся в кресле и углубился в свой журнал.

Я сидел и старался представить себе, что же будет дальше, однако зацепиться было совершенно не за что, и я принялся разглядывать развешанные по стенам фотографии. Одна из них была подписана: «Наша команда, 1921», и на ней был изображен фургон фирмы «Бийки», старый-престарый фургон с колесами на спицах и литыми резиновыми шинами; половина «команды» носила роскошные усы.

Справа от меня шелкнула дверь, заделанная заподлицо со стеной. Я обернулся на звук – и обратил внимание, что с нашей стороны ручки нет и в помине. Появился Рюб, придержал дверь ногой, чтоб не закрылась. На нем были чистые холщовые штаны и белая, с открытым воротом футболка.

– Ну что, нашли нас? – Он протянул мне руку. – Привет, Сай. Рад вас видеть.

– Спасибо. Как видите, нашел. Невзирая на маскировку.

– Собственно, это даже не маскировка. – Он поманил меня и, когда мы вошли, отпустил дверь; она негромко лязгнула, и я сообразил, что это окрашенный металл. Мы оказались в коротком коридорчике с бетонным полом, лицом к лицу с зелеными эмалированными дверями лифтов, и Рюб протянул из-за моего плеча руку, чтобы нажать кнопку. – Здание такое, каким оно было на протяжении многих лет. Во всяком случае, снаружи. Еще десять месяцев назад здесь действительно находилась фирма по перевозкам и хранению, этакое семейное дело. Мы купили эту фирму и до сих пор занимаемся понемногу и перевозками и хранением в небольшом отгороженном помещении – ровно столько, чтобы сохранить видимость...

Дверь лифта скользнула в сторону, мы вошли в кабину, и Рюб нажал кнопку «б». Все остальные кнопки, кроме «1», были заклеены грязной лентой.

– Прежних работников, кто постарше, отправили на пенсию, других постепенно заменили нашими людьми. Меня, например, «наняли», и мне пришлось с месяц поработать такелажником. Едва не помер... – Рюб улыбнулся хорошей, открытой улыбкой, на которую я невольно ответил. – Потом мы чуть повысили тарифы – немного, совсем чуть-чуть. И клиенты, как правило, стали обращаться к конкурирующей фирме. Тем не менее все выглядит по-прежнему. Дело идет, пришлось даже приобрести два новых фургона. Чертову уйму барахла вывезли отсюда в этих закрытых фургонах – собственно, все нутро здания. И, пожалуй, еще больше ввезли...

Зеленая дверь открылась, и мы вышли в коридор. Здесь все было отчетливо новое, все как в любом современном учреждении: покрытые пластиковой плиткой натертые полы и свет, падающий сквозь окна в потолок; бежевые крашенные стены и черные стрелки – указатели направлений и номеров комнат; свернутые пожарные шланги под стеклом; кое-где фонтанчики с питьевой водой; пронумерованные двери заподлицо со стеной, и у каждой двери черно-белые пластмассовые таблички. Проходя мимо, я читал эти таблички в надежде узнать хоть что-нибудь, но на них стояли только ничего не говорящие мне фамилии: м-р У. О'Нил, м-р В. Зальян, мисс К. Вич...

Рюб показал рукой на очередную дверь: пластмассовая табличка сбоку гласила: «Отдел найма».

– Придется начать отсюда: анкеты, налоги, удержания, страховка и так далее. Без всей этой ерунды даже мы обойтись не можем... – Он открыл дверь, уступая мне дорогу, и мы очутились в небольшой приемной, наполовину занятой большим столом; за столом сидела девушка и печатала на машинке. – Роза, это Саймон Морли, наш новый сотрудник. Знакомьтесь, Сай, это Роза Макаби.

Мы поздоровались, и Рюб спросил:

– Сколько вам потребуется, Роза? Примерно полчаса?

Она ответила, что минут двадцать пять. Рюб сказал, что вернется за мной, и удалился.

– Сюда, пожалуйста, мистер Морли. – Девушка открыла еще одну дверь и провела меня в соседний кабинет без окна и почти без мебели; свет шел сверху через проем в потолке. – Сиди-

тес, пожалуйста. – Я подошел к столу и сел во вращающееся кресло. – Анкеты все здесь. – Она открыла ящик и вынула штук шесть-восемь скрепленных вместе анкет разных цветов и размеров. Сняла скрепку и разложила их под настольной лампой, включив ее свободной рукой. – Вот они. Заполните все подряд, мистер Морли; сначала эту, длинную. Вот вам ручка. – Она подала мне шариковую ручку. – Это не должно занять у вас слишком много времени. Если что будет неясно, позовите меня. – Она показала кивком на маленький столик около моего кресла; крышка столика была украшена сложным узором – инкрустацией по дереву, и на ней, точно в центре, расположился белый телефон.

Девушка улыбнулась и вышла, прикрыв за собой дверь. Я взял ручку и огляделся. У стены напротив стоял зеленый картотечный шкаф, за спиной у меня висело зеркало, а справа у двери небольшая акварель в рамке – крытый мост, сделано неплохо, но в общем заурядно. Больше смотреть оказалось не на что, и я сосредоточил свое внимание на бумагах, разложенных под настольной лампой: тут были формы для удержания налогов, страховки на возможную госпитализацию и все такое прочее. Придвинул к себе длинную анкету, озаглавленную «Листок по учету кадров», и начал заполнять ее. В первый пункт я вписал свою фамилию и имя, затем место рождения: Гэри, штат Индиана; день рождения: 11 марта 1942 года – и еще успел подумать: «Неужели кто-нибудь будет все это читать?..» На столике у самого моего локтя вдруг зазвонил телефон, я повернулся в кресле, поднял трубку – и по спине у меня невольно пробежал холодок: телефон был зеленый. А ведь только что, минуту назад, он был белым – я твердо помнил это, но тем не менее теперь он стал зеленым.

– Да? – сказал я в трубку.

– Мистер Морли, за вами пришел мистер Прайен. Вы уже заканчиваете?

– Заканчиваю? Да я только начал!..

Последовала секундная пауза.

– То есть как это – только начали? Мистер Морли, вы сидите там уже... – она помолчала, будто сверяясь с часами, – уже больше двадцати минут.

Я не знал, что и сказать.

– Вы ошибаетесь, мисс Макаби. Я только-только начал...

В голосе ее нетрудно было почувствовать сдержанное раздражение.

– Будьте добры, заканчивайте, мистер Морли. У мистера Прайена назначен прием к директору.

Телефон замолчал, и я медленно положил трубку. Неужели я в самом деле мог замечтаться на целых двадцать минут? Я вновь взялся за анкету, которую начал заполнять, – и тут же в ужасе вскочил на ноги; кресло отлетело назад и с треском въехало в стену. Ибо в анкете против пунктов, следующих за фамилией, местом и днем рождения, было вписано имя моего отца: Эрл Гейвин Морли; место и год его рождения: Манси, штат Индиана, 1908; девичья фамилия моей матери: Стронг; мои увлечения: графика и фотография; полный перечень мест моей прежней работы, начиная с фирмы «Нэфф и Картер» в Буффало. И все другие анкеты, все до одной, были заполнены, как и эта, и, несомненно, моим собственным почерком. Просто невозможно, чтобы я проделал все это, сам того не ведая, но так оно и было. Никак не верится, что я провел здесь двадцать минут, – но, по-видимому, провел. И белый телефон – я снова поглядел на него – оставался все еще зеленым. Волосы у меня на шее пошевеливались, пытаюсь встать дыбом, и желудок судорожно сжался от страха.

Потом я опомнился. Я не заполнял этих анкет, я был совершенно уверен, что не заполнял! Я провел в этой комнате самое большее три-четыре минуты, и в этом я тоже был совершенно уверен. Я прищурился, глядя в раздумье поверх стола, и тут обратил внимание на акварель на стене. Никакого моста теперь не было, а была гора, заросшая сосновым лесом, с заснеженной вершиной, – и я рассмеялся в открытую, страх окончательно исчез. Дверь отворилась, и в комнату вошел Рюб Прайен.

– Ну как, закончили? Что случилось?

– Послушайте, Рюб, какого черта вы все это затеяли? – Я стоял и улыбался ему; он приблизился к столу. – Зачем вам понадобилось уверять меня, будто я провел здесь двадцать минут?

– Но вы действительно провели здесь двадцать минут.

– И картинка эта, – я кивком показал на нее, – тем временем стала вместо моста горой?

– Картинка? – Рюб стоял у стола и, повернувшись, взглянул на акварель с озадаченным видом. – На ней всегда была гора...

– И телефон всегда был зеленый, да, Рюб?

Он посмотрел на телефон.

– Ну да, насколько я помню, всегда.

Я медленно покачал головой, не переставая улыбаться.

– Не выйдет, Рюб. Я пробыл тут от силы пять минут. – Я показал рукой на бумажки, разбросанные по столу. – И их я не заполнял, пусть почерк и очень похож на мой – все равно не заполнял...

Рюб с минуту смотрел на меня через стол, и в глазах у него читалась озабоченность. Потом он сказал:

– Что, если я поклянусь вам, Сай, что вы пробыли тут... – он бросил взгляд на часы, – чуть меньше двадцати пяти минут?

– Вы соврете.

– А если Роза тоже поклянется?

Я только покачал головой. Затем неожиданно присел возле телефонного столика и заглянул под крышку. Там висел белый аппарат – трубку удерживала от падения изогнутая медная дужка, рядом с ней была прикреплена маленькая железная коробочка, и от этой коробочки вниз, по внутренней стороне ножки, тянулись два провода. Я нажал на край крышки столика, где-то в инкрустации сдвинулась филенка, белый телефон выкатился наверх, а зеленый скользнул вниз, на поддерживающую дужку. Я поднял взгляд на Рюба – теперь и он улыбался и через плечо жестом приглашал кого-то из соседней комнаты.

Вошел мужчина без пиджака, молодой, темноволосый, с тонкими подстриженными усиками. Рюб представил нас друг другу: «Доктор Оскар Россоф – Саймон Морли». Мы поздоровались, доктор протянул мне руку через стол, я подал ему свою, но вместо того чтобы пожать ее, он пальцами взял меня за кисть и нащупал пульс. Спустя минуту он заявил:

– Пульс почти нормальный и еще замедляется. Хорошо. – Он отпустил мою руку и с довольной усмешкой спросил: – Как вы узнали? Что вас надоумило?

– Да ничего, кроме того, что это просто невероятно. Просто я знал, что не заполнял ваших анкет. И что никак не пробыл здесь двадцати минут. – Невольно осклабившись, я показал на акварель. – И что две минуты назад эта вот дурацкая гора была не горой, а мостом.

– Полный самоконтроль, – пробормотал Россоф, даже не дав мне кончить. – Превосходно, – обратился он к Рюбу, – очень хорошая реакция. – И опять повернулся ко мне: – Для вас это, быть может, и пустяки, но, смею вас заверить, многие ведут себя совершенно иначе. Один тут как подскочил, как бросился наутек – еле-еле поймали в коридоре, чтобы растолковать, что к чему.

– Ну и прекрасно, я рад, что прошел. – Я старался не показать виду, но чувствовал себя как школьник, только что выигравший конкурс по правописанию. – Но к чему все это? И как вы это сделали?

– Ваши анкетные данные мы знали, – ответил Рюб. – Специалисту по подделке почерков потребовалось четыре часа, чтобы заполнить анкеты симпатическими чернилами – все пункты, кроме первых трех, которые мы оставили вам. В настольную лампу вмонтирована маленькая инфракрасная лампочка – достаточно включить ее, и симпатические чернила проявятся за

несколько секунд. Роза наблюдала за вами в зеркало у вас за спиной – туда ведет коридорчик. Как только вы заполнили первых три пункта, она тут же позвонила вам по телефону и одновременно включила инфракрасную лампочку. Пока вы повернулись к телефону, а потом назад к анкетам – алле гоп! – и все пункты заполнены.

– А картинка?

Рюб пожал плечами.

– За рамкой и стеклом – окошко в стене. Пока испытуемый пишет, я успеваю вытащить мост и вставить гору.

– Ну уж и напридумали! Только зачем?

– Чтобы посмотреть, как вы реагируете на невероятное, – пояснил Россоф. – Некоторые просто не в состоянии его переварить. Они исходят из того, что все вещи неизменно таковы, какими им надлежит быть, и каждая ведет себя так, как ей раз и навсегда положено. И если вдруг этого не происходит, их чувства буквально капитулируют, выходят из повиновения. За этим столом их ждет полный крах. Дон, которого вы встретили внизу, был одним из таких – пришлось дать ему успокоительное даже после того, как он узнал, что с ним произошло. Вы же доверяете прежде всего внутренним ощущениям, а не внешним впечатлениям. Вы знаете то, что знаете. Пойдемте ко мне в кабинет, выпьем кофе. Или чего-нибудь покрепче, если хотите. Вы вполне заслужили выпивку...

Кабинет Россофа находился дальше по коридору, за углом; у двери висела табличка «Лазарет». Россоф толкнул дверь, пропуская Рюба и меня вперед, – дверь была шире обычной, и помещение действительно напомнило мне больницу. Большая комната без окон, с освещением через крышу; письменный стол, ряд плетеных стульев у стены, флюорографический аппарат, таблица для проверки зрения и, по-видимому, портативная рентгеновская установка.

– Теперь все будет честно, без фокусов, обещаю вам, Сай, – сказал Рюб. – То был первый и последний раз.

– Ничего страшного.

Мы проследовали в небольшую приемную; у шкафа с выдвижными ящиками стояла медсестра в белом халате и перебирала папки в верхнем ящике. В зубах она держала авторучку и улыбнулась нам, как сумела; Рюб сделал вид, будто хочет шлепнуть ее по мягкому месту, а она сделала вид, будто поверила в его намерения и испуганно увернулась. Сестре было под сорок – крупная женщина, привлекательная и добродушная, с сильной проседью в волосах.

– Сахар? Сливки? – спросил Россоф, как только мы оказались у него в кабинете, и направился к низкому журнальному столику, где стояла плитка, а на ней стеклянный кофейник. – Надеюсь, что вы откажетесь, поскольку ни сливок, ни сахара у меня нет.

– Мне, пожалуй, черного, – ответил Рюб, усаживаясь в кресло. – А вам, Сай?

– Сойдет и черный.

Я сел на стул, обитый зеленой кожей, и огляделся. Комната была большая, прямоугольная и тем не менее уютная – мне она сразу пришлась по душе. На полу лежал серый ковер, а стены были оклеены обоями с веселым красно-зеленым рисунком. На одном конце рабочего стола доктора громоздилась куча книг и бумаг. С другой стороны от пола до потолка высились книжные полки, и, подавая мне чашку кофе, Россоф заметил, что я обратил на них внимание.

– Подойдите поближе, если интересно, – предложил он.

Я встал и подошел к полкам, прихлебывая кофе, который оставлял желать лучшего. Разумеется, я ожидал увидеть медицинские книги, и многие действительно оказались таковыми. Но несколько полок занимали книги по истории: институтские учебники, справочники, биографии, всевозможные исследования, относящиеся ко всем мыслимым эпохам, странам, историческим личностям. Кроме того, там было сотни две романов, и среди них, судя по обложкам, немало давних изданий; знакомых названий я не встретил вообще. Возвращаясь к своему стулу, я бегло оглядел дипломы в рамках, разрешение на врачебную практику в штате

Нью-Йорк и фотографии, почти сплошь покрывавшие стену над зеленым кожаным диваном. Как обнаружилось, Россоф был доктором медицины, психологом, выпускником университета Джонса Хопкинса.

Минут пять еще мы пили кофе, лениво переговариваясь, потом Рюб поставил свою чашку на столик и встал.

– Спасибо, Оскар, – сказал он. – Кофе был преотвратный. Сай, как только доктор с вами разделается, я вернусь, и мы пойдем навестим директора.

Он ушел. Россоф спросил, не хочу ли я еще кофе, но я отказался.

– Ну ладно. У меня для вас заготовлено несколько тестов, и вам придется незамедлительно их пройти. С большинством из них вы, вероятно, знакомы. К примеру, я, с вашего разрешения, попрошу вас взглянуть на несколько клякс Роршаха³ и рассказать мне, на какие нехорошие мысли они вас наводят. И далее в том же духе. Если вы справитесь, тогда мы посмотрим, как ловко вы умеете врать. Возможно, я попрошу вас с места в карьер представиться лицом какой-либо иной профессии, например юристом. И выдержать допрос со стороны трех-четырех человек, подозревающих, что вы не юрист. Или, скажем, вы станете всячески отрицать, что вы художник или что бывали в Нью-Йорке когда-нибудь прежде, и все это в разговоре с незнакомыми вам людьми, участниками нашего проекта, которые будут пытаться поймать вас на неосторожном слове. Однако это потом. Сперва есть кое-что поважнее. Между прочим, вам не приходило в голову, что мы все тут слегка тронулись и вовлекли вас в некий огромный розыгрыш?

– Потому-то я к вам и присоединился.

– Прекрасно. Именно такие, как вы, нам и нужны.

Россоф мне нравился. Если даже он просто-напросто успокаивал меня, то явно преуспевал в этом.

– Вас когда-нибудь гипнотизировали? – спросил он.

– Нет, никогда.

– Испытываете ли вы предубеждение против гипноза? Надеюсь, нет, – быстро добавил он. – Это чрезвычайно важно: прежде всего мы должны убедиться в том, что вы поддаетесь гипнозу. Вы, несомненно, знаете, что поддаются не все, но единственный способ определить, к какой группе относитесь вы, – испытать вас...

Я поколебался, затем пожал плечами.

– Ну, пожалуй, если человек компетентный...

– Я вполне компетентен. И я вас загипнотизирую. Если вы не возражаете.

– Ладно. Я зашел уже так далеко, что нет никакого смысла бить отбой...

Россоф встал, прошел к столу, взял желтый карандаш. Уселся опять, вплотную придвинув свой стул к моему, так что наши лица оказались в метре друг от друга. Держа карандаш передо мной вертикально за отточенный конец, он сказал:

– Воспользуемся предметом. Годится почти любой, в том числе и этот карандаш – совершенно необязательно, чтобы он блестел. Смотрите на него, но, пожалуйста, не слишком пристально; захочется моргнуть или отвести глаза – ничего страшного. Важно единственное – чтобы вы не были напряжены и не оказывали внутреннего сопротивления, иначе я окажусь бессилён. Вам удобно? Кивните, если да.

Я кивнул.

– Вот и отлично. Если вы все еще ощущаете хоть малейшее внутреннее сопротивление, преодолите его. Замечаете, как оно уходит, растворяется? И вот – исчезает совсем. Расслабьте мышцы – я хочу, чтобы вам действительно было удобно. И не надо ни о чем волноваться. Время

³ Роршах, Герман (1884–1922) – швейцарский психолог-фрейдист, разработал систему тестов, применяемую при психодиагностике.

от времени я занимаюсь самогипнозом, это довольно легко, и вы этому, безусловно, научитесь. Четыре-пять минут самогипноза – превосходное освежающее средство. С помощью самогипноза я снимаю головную боль, если она возникла от перенапряжения, без всякого аспирина. Замечательный отдых, не правда ли? Лучше виски, лучше коктейля... – Он опустил карандаш. – Посмотрите на свою правую руку, лежащую на ручке кресла. Она полностью расслаблена, так расслаблена, что отказывается двинуться. Когда я сосчитаю до трех, вы убедитесь в этом. Попробуйте поднять руку, когда я скажу «три». Вы не сможете. Раз. Два. Три!

Рука моя отказывалась пошевелиться. Я глядел на нее в упор, склонялся над ней, буравил глазами рукав пиджака и мысленно приказывал ей приподняться. Но она лежала совершенно неподвижно – безмолвная моя команда оказывала на нее не большее влияние, чем на стол доктора.

– Все хорошо, не волнуйтесь. Вы добровольно подверглись моему гипнотическому внушению, и все у вас получилось очень хорошо. Я с вами еще несколько минут побеседую. Ваша рука, между прочим, может теперь двигаться как ей угодно.

Я поднял руку, согнул ее в локте, несколько раз сжал и разжал пальцы, будто она до сих пор спала. Потом откинулся на мягкую кожаную спинку кресла, чувствуя себя удобнее и спокойнее, чем когда-либо ранее за всю свою жизнь.

– Мозг, – продолжал Россоф, – в некотором смысле разделен на ячейки. Разные его отделы выполняют разные функции; например, лишившись определенной области мозга в результате несчастного случая, вы теряете способность говорить. Приходится учиться заново, приспособив для этого другую область мозга. Подобным же образом можно при желании представить себе память. Воспоминания удастся отключать. Совсем отключать, словно их никогда и не было. Вот сейчас мы отключим небольшую часть вашей памяти. Как только я стукну этим карандашом по ручке кресла, вы забудете, как зовут человека, который привел вас сюда. На некоторое время это имя ускользнет из вашей памяти, словно вы никогда его и не знали.

Он стукнул карандашом по кожаной ручке кресла – звук был совсем слабый, но я услышал.

– Вы помните человека, который вас разыскал и уговорил прийти сюда, не правда ли? Того, с которым мы только что пили кофе? Вы можете представить себе его лицо?

– Да.

– Между прочим, как он был одет?

– Холщовые штаны, белая рубашка с короткими рукавами, мягкие коричневые туфли.

– Вы могли бы набросать его портрет?

– Конечно.

– Хорошо, так как же его зовут?

Ничто не приходило на ум. Я перебирал всевозможные фамилии: Смит, Джонс, фамилии всех, кого я когда-то знал, фамилии, когда-либо читанные или слышанные. Все было без толку: я попросту не знал, как его зовут.

– Вы понимаете, почему не можете вспомнить? Понимаете, что находитесь под гипнозом?

– Да, понимаю.

– Ну так попытайтесь пробиться через гипноз. Старайтесь вспомнить, старайтесь изо всех сил. Вы ведь знаете, как его зовут. Вы не далее как сегодня несколько раз слышали и сами произносили его имя. Ну давайте же: как его зовут?

Я закрыл глаза, напрягая мозг. Я рылся в памяти, старался извлечь из нее нужное имя, но не мог. Будто доктор спрашивал у меня фамилию прохожего на улице.

– Когда я снова стукну карандашом по креслу, вы вспомните. – Он опустил карандаш на кожаную обивку и спросил: – Как его зовут?

– Рюбен Прайен.

– Превосходно. Когда я хлопну в ладоши, вы полностью выйдете из состояния гипноза. От него не останется никакого следа. Гипнотическое внушение пройдет без остатка. – Он ударил в ладоши, негромко, но отрывисто и звонко. – Чувствуете себя нормально?

– Превосходно.

– Ну что ж, сеанс прошел хорошо, вы великолепный партнер. У меня предчувствие, что вы пройдете. В следующий раз я, быть может, заставлю вас лаять тюленем и есть живую рыбу...

Затем я рассматривал кляксы Роршаха и исповедовался Россофу в том, какие мысли они навевают. Я разглядывал картинки, истолковывал их и даже нарисовал несколько собственных. Меня испытывали на ложь и на правдивость. Я вставлял в предложения пропущенные слова. Я рассказывал о себе и отвечал на вопросы. С повязкой на глазах я брал со стола различные предметы и на ощупь определял их размеры, форму, а иной раз и назначение. Наконец Россоф заявил:

– Достаточно. Более чем достаточно. Как правило, я растягиваю тесты на несколько дней, иногда на целую неделю, однако... Мы же сами до сих пор не знаем толком, что нам надо: на черта мне притворяться, будто я умею точно определить, отвечает ли человек требованиям для свершения, быть может, вообще неосуществимого?! В вас я почти уверен, и никакие тесты уже не в состоянии поколебать меня в моем убеждении. Впрочем, все они лишь подтверждают его. Насколько я способен судить, вы нам подходите.

Он бросил взгляд на закрытую дверь кабинета и прислушался. Оттуда доносились невнятный мужской голос и женский смех.

– Рюб, – крикнул Россоф, – хватит приставать к Алисе, идите сюда!

Дверь открылась, и появился старик, очень высокий и худой. Россоф быстро встал.

– Я не Рюб, – сказал старик, – и к Алисе я, увы, не приставал...

Россоф представил нас друг другу. Это оказался доктор Данцигер, директор проекта. Мы обменялись рукопожатием. Рука у Данцигера была большая, волосатая, со вздутыми венами, такая большая, что моя ладонь совсем утонула в ней, а его глаза впились в меня вопросительно и возбужденно, словно стараясь сразу же вывести всю мою подноготную.

– Как он, прошел? – торопливо спросил Данцигер, и пока Россоф отвечал, настала моя очередь изучать директора.

Он был из тех людей, которых запоминаешь с первого взгляда и на всю жизнь. Лет ему было, по-моему, шестьдесят пять – шестьдесят шесть, глубокие морщины залегли на лбу и щеках; на щеках они выглядели как три пары скобок, начинавшихся в уголках рта и тянувшихся к скулам, и когда он улыбался, эти скобки становились еще шире и глубже. Загорелый, лысый – на лысине у него красовались веснушки, а уцелевшие по бокам головы волосы были черными или, может, крашеными. Рослый – метр девяносто пять, если не больше, худой, с широкими, хоть и сутулыми плечами. Носил он легкомысленный, синенький в горошек галстук-бабочку, старомодный бежевый двубортный пиджак, а под ним застегнутый на все пуговицы коричневый шерстяной жилет. И, невзирая на возраст, выглядел он крепким, живым и мужественным; мне подумалось даже, что он бы, может, вовсе не прочь поприставать к Алисе, да и она, наверное, не особенно возражала бы...

– Так вы говорите – да? – медленно переспросил он. Россоф кивнул. – Ну так и я тоже – да. Я изучил все материалы, какие у нас есть на него, и звучит все это вполне подходяще...

Он повернулся ко мне и несколько секунд испытующе глядел на меня; тем временем в кабинет вошел Рюб и неслышно прикрыл за собой дверь. Я начал даже чувствовать себя неловко под пристальным взглядом Данцигера, когда тот неожиданно улыбнулся.

– Ладно! – воскликнул он. – Теперь вы, вероятно, хотите узнать, во что же вас все-таки втравили. Ну что ж, сперва Рюб вам покажет, а затем я попытаюсь объяснить.

Он схватился большими веснушчатыми руками за лацканы пиджака и опять уставился на меня, слегка улыбаясь и медленно покачивая головой; в этом движении мне почудилось одобрение, и я почувствовал себя польщенным более, чем мог бы ожидать.

3

По коридорам, которыми вел меня Рюб, сновали люди. Мужчины и женщины, в большинстве своем молодые, входили в кабинеты, выходили из них, проходили мимо. И каждый, он или она, кивая Рюбу или заговаривая с ним, неизменно с любопытством смотрел на меня. Рюб наблюдал за мной, слегка усмехаясь, и, когда я в свою очередь взглянул на него, спросил:

– Ну и что же вы думаете увидеть?

Я попытался найти хоть какой-нибудь ответ, но не нашел и покачал головой.

– Не имею ни малейшего представления, Рюб.

– Вы уж извините, что все так таинственно. Но объяснения дает директор, а не я. И нужно показать вам это, прежде чем он сможет хоть что-то объяснить.

Мы повернули за угол, потом повернули еще раз и попали в коридор, значительно более узкий, чем прежние. Повернули снова и очутились в совсем уж узеньком, но довольно длинном проходе.

Одна из стен здесь была глухая. В другую был врезан ряд двойных стекол, сквозь которые хорошо просматривались инструктажные, как Рюб назвал их, кабинеты. Первые три кабинета оказались пустыми – оборудование там было, как в обычных классных комнатах. Шесть-восемь деревянных стульев-парт – с одной стороны подлокотник заканчивался письменным столиком; классные доски, кафедры для преподавателей. В четвертой точно такой же комнате сидели двое: один за кафедрой, другой лицом к нему на стуле-парте, – и мы остановились.

– Мы их видим, они нас нет, – пояснил Рюб. – Всем это известно, но так лучше, чтобы не мешать занятиям...

Тот, кто сидел за партой, говорил, то и дело запинаясь и время от времени задумчиво потирая лицо рукой. Лет сорока, худой и смуглый, одетый в темно-синий джемпер и белую рубашку с открытым воротом, он выглядел гораздо старше своего инструктора. Рядом с окошком в стену была утоплена панель из нержавеющей стали с двумя кнопками. Рюб нажал одну из них, и мы услышали голос ученика из зарешеченного динамика над окошком.

Он говорил на иностранном языке, и секунд через десять мне померещилось, будто я знаю на каком: я уже почти объявил об этом вслух, но все-таки удержался. Первое впечатление было такое, что это французский – язык, который я могу отличить от других, – потом меня одолели сомнения. Я прислушался повнимательнее: отдельные слова почти наверняка попадались французские, но выговор был какой-то невнятный. Ученик говорил и говорил, и теперь довольно бегло, лишь иногда инструктор поправлял произношение, и тот несколько раз подряд повторял одно и то же слово, прежде чем продолжать.

– Это французский?

По усмешке Рюба я понял, что он только и ждал подобного вопроса.

– Да, но средневековый французский. Так говорили четыреста с лишним лет назад...

Он нажал другую кнопку, динамик смолк, лишь губы человека за стеклом продолжали шевелиться, – и мы двинулись дальше. У следующего окошка Рюб нажал кнопку сразу же, я услышал, как кто-то крикнул, затем раздался удар дерева по дереву; остановившись подле Рюба, я заглянул в комнату.

Мебели в ней не было совсем, стены обтягивала тяжелая парусина, а на полу двое мужчин вели штыковой бой. Один носил плоскую каску, гимнастерку цвета хаки с высоким воротником и обмотки – форму солдата американской армии времен Первой мировой войны. Другой был в черных сапогах, серой форме и глубокой каске немецкой армии. Штыки отливали странным серебристым цветом, и я понял, что они из крашеной резины. Лица мужчин блестели от пота, гимнастерки потемнели под мышками и на спине, а они все кололи, отбивали, наступали, отступали, крикая в такт ударам винтовок. Вдруг немец стремительно отскочил,

сделал ложный выпад, увернулся от удара противника и всадил штык прямо тому в живот, так что резина перегнулась пополам.

– Убит, американская свинья! – заорал он победно.

– Черта с два, – отозвался другой, – небольшая царапина...

Оба рассмеялись, продолжая наносить друг другу удары, а Рюб мрачно смотрел на них и бормотал:

– Не так, мерзавцы, совсем не так! Безобразное отношение к делу!

Я бросил на него взгляд: лицо его стало раздраженным, злым, губы сжались, глаза сузились. Еще какое-то мгновение он молча смотрел в окошко, потом резко надавил на выключатель большим пальцем и отвернулся.

В следующей комнате сидело человек десять – большинство в белых плотничьих спецовках, некоторые в синих джинсах и рабочих рубашках. Мужчина в брюках и рубашке цвета хаки указкой водил по картонному макету, занимавшему весь стол. Это был макет комнаты без одной стены, подобие театральной декорации, и мужчина указывал на игрушечный потолок. Рюб нажал кнопку.

– ...балки крашенные. Но это лишь в самых верхних точках, где темно. – Указка передвинулась ближе к стене. – Здесь начинаются настоящие дубовые балки и настоящая штукатурка. Замешенная на соломе, не забудьте, черт возьми!..

Рюб выключил звук, и мы тронулись дальше.

В этой комнате никого не было, а три стены от пола до потолка занимала огромная аэро-фотография какого-то городка, и мы задержались, чтобы рассмотреть ее. Там обнаружилась и подпись: «Уинфилд, штат Вермонт. Ход восстановительных работ. Вид 9, серия 14». Я взглянул на Рюба, и он знал, что я смотрю на него, но не дал никакого объяснения – просто стоял и рассматривал фотографию, и я не стал его ни о чем расспрашивать.

Еще две комнаты оказались пустыми, а в третьей стулья были сдвинуты к стенам, и посредине красивая девушка танцевала чарльстон; на столе крутился допотопный патефон с заводной ручкой. Женщина средних лет стояла поодаль и наблюдала за ней, отбивая такт указательным пальцем. На девушке было бежевое платье, подол качался и едва прикрывал порхающие колени, а линия пояса ненамного поднималась над подолом. Стрижкам такого фасона, как у нее, в свое время дали прозвище «короче некуда», и еще она жевала резинку. На женщине было платье того же фасона, разве что юбка длиннее.

Рюб нажал кнопку динамика, и мы слышали быстрое ритмичное притопывание и тонкий призрачный звук стародавнего оркестра. Внезапно музыка кончилась характерным для того времени обрывом, и девушка остановилась, шумно перевела дыхание и с улыбкой глянула на инструкторшу – та кивнула одобрительно:

– Хорошо. Муравьиные коленца вы освоили...

На этой милой фразе Рюб, сдержав усмешку, выключил динамик, и мы, не обменявшись ни словом, отправились дальше.

Нам попались еще три пустые комнаты подряд, а в следующей вокруг преподавательской кафедры стояло штук десять портновских манекенов. На одном из стульев лежала груда белых картонных коробок, по-видимому с одеждой.

И опять мы быстро шли вдоль освещенных сверху коридоров, мимо пронумерованных дверей с черно-белыми табличками: м-р Макэлрой; м-р Бёрк, мисс Фридман – бухгалтерия; м-р Демпстер; архив Б. К Рюбу обращались почти все, кто попадался нам по дороге, и он отвечал каждому. Мужчины в большинстве своем были одеты просто: в пуловерах, спортивных куртках, футболках, лишь немногие в костюмах и при галстуках. Женщины и девушки, иные из них прехорошенькие, были одеты, как принято одеваться в учреждениях. Двое грузчиков в спецовках катили тяжелую деревянную тележку, на ней разместился какой-то мотор или механизм, полуприкрытый парусиной. Наконец Рюб остановился у двери, такой же точно, как и все

остальные, но возле нее не висело никакой таблички с фамилией, только номер. Открыл дверь и жестом показал, чтобы я вошел первым.

Человек, сидевший за маленьким столиком, вскочил на ноги еще до того, как я успел переступить порог. Кроме столика и стула, в комнатке вообще ничего не было.

– Добрый день, Фрэд, – произнес Рюб.

– Добрый день, сэр, – отозвался тот. На нем были зеленая нейлоновая куртка с молнией и рубашка, расстегнутая у ворота, и хотя я не заметил ни знаков различия, ни оружия, но сразу же признал в нем охранника: плечи мощные, грудь, шея и кисти рук – тоже, а занят он был единственно тем, что читал журнал «Эсквайр».

Позади стола в стену была утоплена стальная дверь. Ручки не существовало, но по краю двери виднелись три латунные замочные скважины одна под другой. Рюб вынул связку ключей, выбрал нужный ключ, обойдя стол, вставил его в верхний замок и повернул. Из кармашка для часов он вытащил еще один ключ, вставил его в среднюю скважину и тоже повернул. Охранник выжидающе стоял рядом; теперь и он вставил свой ключ в нижнюю скважину, повернул его и ключом же потянул дверь. Рюб высвободил свои два ключа и сделал приглашающий жест. Сам он вошел следом, дверь тяжело повернулась и захлопнулась. Последовала серия щелчков – запоры встали на место, и мы оказались в клетушке размером с большой шкаф. Лампочка в проволочной сетке на потолке давала тусклый свет, и я не сразу понял, что стою на верхней площадке винтовой металлической лестницы.

Рюб двинулся вперед, и мы спустились, пожалуй, метра на три – из темноты к свету; с последней ступеньки мы шагнули на решетчатый железный пол. Если бы не пол, помещение мало чем отличалось бы от того, откуда мы только что спустились. Вдоль стен шла узкая некрашенная деревянная полка, и на ней лежало пар десять тапочек из толстого серого войлока – неуклюжих, глубиной по самую щиколотку, с застежками как у бот.

– Надеваются поверх обуви, – пояснил Рюб. – Найдите себе пару, которая не сваливалась бы с ног. – Он кивнул в сторону еще одной железной двери перед нами. – Когда мы попадем туда, все должно быть тихо-тихо. Никаких громких и резких звуков, хотя разговаривать вполголоса разрешается – голос вниз не доходит...

Я кивнул, ощущая, что пульс у меня сейчас куда выше нормы. Что же такое, дьявол их всех возьми, я там увижу? Мы затянули застежки «бот» – в них было неудобно и жарко, – и Рюб толкнул последнюю дверь, тяжелую вращающуюся дверь без ручек и замков; мы прошли, и дверь бесшумно закрылась за нами.

По ту сторону двери нас ждало продолжение решетчатого пола – узкая висячая галерея. Ограда из стальных прутьев, доходившая едва до пояса, казалась слишком ненадежной, чтобы застраховать от падения. Пальцы мои вцепились в поручень куда крепче, чем в том была нужда, но я не мог, просто не мог разомкнуть их и шагнуть вперед, потому что галерея у меня под ногами являлась лишь первым звеном в гигантской паутине решетчатых мостков, висящих на высоте пяти этажей над исполинским куском пустого пространства, и эти мостки сходились и расходились, соединялись и перекрещивались где-то там, вдали.

Вся эта паутина свисала с потолка – с нижнего перекрытия шестого этажа, откуда мы пришли, – на тонюсеньких металлических прутьях. Рюб дал мне передышку, и я воспользовался ею, чтобы свыкнуться с мыслью, что придется вылезти на середину паутины, – я смотрел вниз, но единственное, что видел, были верхушки толстых стен, поднимающихся снизу, от фундамента выпотрошенного склада, и заканчивающихся в полуметре от решетчатой эстакады. Стены эти, как я мог заметить, пересекали пространство под нами на несколько участков различных размеров и конфигураций. Глянув вверх, я увидел переплетение воздуховодов и массу механизмов, развешанных под потолком. Тогда я вновь посмотрел на Рюба, и он улыбнулся – представляю себе, что за выражение было у меня на лице!

– Впечатляет, сам знаю. Не спешите, привыкайте. Когда освоитесь, идите вперед, куда вам заблагорассудится.

Я заставил себя пройти вперед метра три-четыре, с трудом подавляя желание вновь вцепиться в перила и все еще не смея взглянуть под ноги. Сначала галерея вела прямо вперед, затем повернула вправо, и я обратил внимание, что мы пересекли одну из внутренних стен, чуть-чуть не дотянувшуюся до наших мостков. Как только мы пересекли ее, я ощутил поток теплого воздуха снизу и услышал гул вытяжных вентиляторов над головой. Почти под самой галереей к стене тут и там крепились трубчатые кронштейны, и на этих кронштейнах висели сотни экранированных театральных юпитеров буквально всех цветов, оттенков и размеров; каждая группа прожекторов нацеливалась на какую-нибудь определенную точку внизу. Я остановился и, вцепившись обеими руками в перила, приказал себе посмотреть туда, куда указывали софиты.

Пятью этажами ниже, у дальнего края участка, над которым мы находились, я увидел небольшой дощатый домик. Ракурс представился выгодный: можно было заглянуть на крыльцо, под железную крышу. Там, на ступеньках, сидел мужчина без пиджака. Он курил трубку, рассеянно уставившись прямо перед собой, на выложенную кирпичом мостовую.

По обе стороны от домика возвышались сегменты двух других строений. Боковые стены, обращенные к первому домику, были полностью закончены, к окнам были прилажены ставни, на окнах повешены занавески. Точно так же половинки крутых крыш и передние стенки, включая крылечки с изношенными ступеньками, выглядели как настоящие. На одном крылечке я заметил даже плетеную детскую коляску. Но в отличие от домика посередине два других состояли лишь из двух стен и части крыши: сверху я видел сосновые стропила, поддерживающие фасады и крыши. Перед всеми домами были газоны и тенистые деревья, кирпичные тротуары и такие же кирпичные мостовые, и кое-где на бровках торчали железные столбики для привязывания лошадей. По другую сторону улицы поднимались фасады еще пяти-шести домов. На одном крыльце валялся старенький велосипед, на другом висел гамак. Но эти дома представляли собой один обман, ложные фасады не более тридцати сантиметров в толщину, вытянувшиеся вдоль стены, которая отгораживала этот сектор от другого.

Рюб облокотился на перила рядом со мной и сказал:

– С того места, где сидит этот человек, из любого окна его дома и с любой точки его газона создается впечатление реальной улицы и реальных домов. Отсюда не видно, но в конце участка настоящей кирпичной мостовой на стене со всей возможной тщательностью и с сохранением диорамной перспективы нарисовано продолжение этой улицы и весь окружающий район до самого горизонта...

Пока он говорил, внизу под нами появился мальчик на велосипеде; откуда он взялся, я не заметил. На нем были белая матросская шапочка с околышем, сплошь покрытым, как мне показалось, разноцветными значками, короткие коричневые штаны, перехваченные пряжкой под коленками, длинные черные чулки и грязные матерчатые ботинки выше щиколоток. На плече у него болтался на широком ремне рваный парусиновый мешок со сложенными газетами. Мальчик вилял на своем велосипеде от бровки к бровке, держался за руль одной рукой, а другой ловко бросал сложенную газету на очередное крыльцо. Завидев это, мужчина встал, мальчик кинул газету, мужчина поймал ее, сел обратно на ступеньку и начал разворачивать. Мальчик бросил еще одну газету на крыльцо соседнего, фальшивого двухстенного дома и повернул за угол. Там, уже вне поля зрения мужчины, он слез с велосипеда и повел его к двери в стене сектора, куда упиралась крохотная перпендикулярная улочка. Потом он открыл дверь и, протаскив велосипед за собой, исчез.

Я не видел, что было за дверью, но почти тотчас же оттуда вынырнул еще один мужчина, притворил ее за собой и двинулся к углу, на ходу надевая жесткую соломенную шляпу с плоскими полями и черной лентой. Белый ворот его рубашки был расстегнут, галстук оттянут, а

в руке он нес пиджак. С высоты пяти этажей мы с Рюбом наблюдали, как, не дойдя до угла, он приостановился, сдвинул шляпу на макушку, перекинул пиджак через плечо и вытащил из заднего кармана брюк скомканный платок. Вытирая лоб платком, он двинулся дальше усталой походкой, обогнул угол и медленно побрел по кирпичному тротуару мимо человека на крыльце, который уже уткнулся в газету.

– Давайте послушаем, – сказал Рюб, приложив к уху ладонь.

Я последовал его примеру. Из глубины довольно явственно донесся голос прохожего:

– Добрый вечер, мистер Макнотон. Ох и жарко сегодня!

Человек на крыльце поднял голову.

– А, мистер Дрекслер, здравствуйте. Не говорите, жарища. И такую же баню тут, в газете, обещают на завтра...

Прохожий едва волочил ноги – устал после работы, да еще тащись по жаре домой – и теперь уныло покачал головой.

– Когда это только кончится!..

Мужчина на крыльце усмехнулся:

– Ну, к Рождеству-то уж кончится, это точно.

Прохожий свернул с тротуара, по диагонали пересек улицу, поднялся по ступенькам крыльца одного из декоративных фасадов напротив и распахнул сетчатую дверь.

– Эдна! – позвал он. – Вот и я...

Сетчатая дверь с шумом захлопнулась, и мы увидели, как он по короткой лесенке спустился вниз, пригнувшись, юркнул под стропила и отворил еще одну дверь в стене. Потом прошел через нее, и она беззвучно закрылась.

Зато открылась другая сетчатая дверь в фальшивом фасаде другого фальшивого дома, на крыльцо вышла женщина, подняла сложенную газету, развернула ее и стала просматривать первую страницу. На женщине было необыкновенно длинное домашнее платье в синюю клетку – подол не достигал пола всего сантиметров на двадцать. Мужчина на крыльце поднял голову на звук открывшейся двери – и опять уткнулся в свою газету.

Я повернулся к своему спутнику, но Рюб продолжал смотреть вниз, опершись локтями на перила и небрежно сцепив пальцы.

– Я не вижу киноаппарата, но полагаю, что вы там внизу либо снимаете, либо репетируете какой-то фильм.

Помимо воли голос мой звучал несколько раздраженно.

– Нет, – ответил Рюб. – Мужчина, тот, что на крыльце, действительно живет в этом доме. Там, в доме, все самое что ни на есть настоящее, и пожилая женщина приходит к нему каждый день готовить и убирать. А продукты доставляются по утрам в легкой повозке, запряженной лошадью. Два раза в день почтальон в серой форме приносит почту, в основном рекламные проспекты. Мужчина этот ждет ответа на свои письма – он просил предоставить ему работу здесь, в городке. Скоро он получит уведомление, что на работу его приняли, и поведение его изменится. Он начнет выходить в город, на службу. – Рюб мельком взглянул на меня и продолжал объяснять сцену, развертывающуюся внизу: – А пока он хлопочет по хозяйству. Поливает газон. Читает. Переговаривается о том о сем с соседями. Курит табак «Мастер Мейсон» из стародавних зеленых пачек. Иногда слушает радио, хотя в такую погоду очень мешают атмосферные разряды. Изредка его навещают друзья. А сейчас он читает свежий, отпечатанный час назад номер местной газеты от 3 сентября 1926 года. Он устал – к концу дня там, внизу, температура достигает сорока в тени и даже ночью не падает ниже тридцати. Самая настоящая засуха, и никакого вам кондиционированного воздуха. Если он посмотрит вверх, то увидит над собой лишь жаркое голубое небо.

Стараясь говорить спокойно, я спросил:

– Вы хотите сказать, что они разыгрывают какой-то сценарий?

– Никакого сценария у них нет. Он поступает как хочет, и люди, которых он видит, действуют и говорят по обстановке.

– Так что же, он и вправду считает, что живет в каком-то городке?

– Нет, нет, ни в коем случае. Он прекрасно знает, где он. Знает, что все это – своего рода декорация в помещении бывшего склада в Нью-Йорке. Он никогда не заходит за угол, но знает, что улица там и кончается. Знает, что длинная улица, протянувшаяся в другую сторону, на самом деле нарисованная перспектива. И хотя никто с ним не откровенничал, я думаю, он прекрасно понимает, что дома напротив – фальшивые, что там одни фасады. – Рюб выпрямился и, оторвавшись от перил, посмотрел мне прямо в глаза. – Все, что я вправе сообщить вам сию минуту, Сай, так это то, что он старается изо всех сил чувствовать себя на самом деле сидящим в жаркий вечер на крыльце и читающим, что сказал поутру президент Кулидж, если тот сказал что-нибудь...

– И что, действительно существует такой город и такая улица?

– О да, и улица, и дома, и деревья, и газоны в точности такие, до последней травинки и плетеной колясочки на крыльце. Вы видели аэрофотоснимок этого городка – это Уинфилд, штат Вермонт. – Рюб усмехнулся и мягко добавил: – Не злитесь. Вам надо сначала все увидеть, только тогда и можно понять...

Мы двинулись дальше по паутине мостков, ниже гудящих моторов и выше сотен и сотен ярких ламп. Мы прошли прямо над домом и над головой мужчины на ступеньках, и странно было подумать, что, оторвись он от своей газеты и взгляни вверх, он увидит не нас, а только поддельное небо. Однако вверх он не взглянул, а продолжал читать газету, пока карниз не скрыл его от наших глаз. Повернув налево по другому мостку, мы пересекли стену и попали в соседний сектор.

Сразу же стало прохладнее, появилось ощущение сырости и дождя, и мы посмотрели вниз. Там, далеко под нами, лежал кусочек прерий, и через него протекал маленький ручеек. В дальнем конце сектора была рошица белых берез – в сущности, не рошица, а опушка более густого леса, уходившего за гребень холма. Я уже догадался, что бо́льшая часть леса просто нарисована на стене, но выглядело все очень правдоподобно. Почти точно под нами стояли три вигвама из сыромятной кожи, раскрашенные выцветшими кругами, ломаными линиями и похожими на палочки изображениями людей и животных. Над вигвамами поднимались струйки дыма. Перед одним из них, привязанный к вбитому в землю колышку, лежал щенок и грыз что-то, зажав между лапами. Пока мы стояли, лампы, освещавшие сектор, стали выключаться одна за другой – мы даже слышали щелчки, – и треугольные тени, ложившиеся от вигвамов на траву, сгустились, а в струйках дыма начали проскальзывать искорки.

– Больше всего люблю эту сцену, – прошептал Рюб. – Штат Монтана, километрах в ста от места, где сейчас расположен город Биллингс. Там, внизу, восемь человек – мужчины, женщины и даже ребенок. Все чистокровные индейцы племени кроу. Пошли дальше...

Почти бесшумно переступая войлочными «ботами», мы по узкому металлическому мостку пересекли сектор и еще одну стену. Теперь мы оказались над вытянутым треугольником, над самой короткой его стороной, лицом к вершине. Снизу почти к самым нашим ногам поднималось белое каменное здание. Опять-таки оно было совсем не тем, чем, наверное, представлялось с фасада: выложены были лишь две стены, поддерживаемые сзади трубчатыми лесами. У основания стен лежала грубая булыжная мостовая. Четверо рабочих в спецовках укладывали в трещины меж камней мостовой узкие полоски дерна и сажали пучки травы, которые брали из корзин. Булыжник заканчивался травянистым откосом, спускавшимся, казалось, к самой настоящей реке. Мутная рыжая вода медленно текла по одной стороне треугольного сектора к дальнему его концу.

В этом белокаменном псевдоздании, стены которого доходили почти до наших ног, мне почудилось что-то знакомое, и я передвинулся дальше по галерее, чтобы получше рассмот-

реть его фасад. Боковая стена, вдоль которой я шел, была укреплена внизу контрфорсами, а потом я заметил, что фасад венчали две одинаковые квадратные башни. С боков на башнях выступали резные каменные фигурки, до одной из них при желании я мог бы дотянуться. Это были крылатые горгульи, фантастические фигурки на горловинах водосточных труб, а стена с контрфорсами и башни-близнецы принадлежали собору. Собору Парижской Богоматери – теперь наконец я узнал его по фильмам и фотографиям.

Рюб следил за мной и понял, что я узнал собор; тогда он показал пальцем на ту сторону реки. Там, вдали, змеились грунтовые дороги, группками стояло несколько десятков приземистых деревянных и каменных домиков, а большую часть видимого пространства занимали поля и леса.

– Средневековье, – усмехнулся Рюб. – Париж весной 1451 года. То есть будет Париж, если удастся когда-нибудь довести всю эту дьявольщину до конца...

Он поднял руку и еще раз показал пальцем – теперь вдали за рекой я заметил человека в бежевых хлопчатобумажных брюках и синей рубашке, выпачканной краской, великана, парящего над домами и деревьями, которые едва доходили ему до колен. В левой руке человек держал палитру и старательно выписывал лесные дали по контуру, нанесенному древесным углем на стене по ту сторону мутной, медленно текущей Сены.

– До черта там еще работы осталось, – сказал Рюб. – Каждый камень собора надо соответствующим образом состарить кислотами и красителями. Как-никак к 1451 году собору было уже несколько веков. Это, можно сказать, наш самый честолюбивый замысел, но сомневаюсь, чтобы даже Данцигер верил в его осуществимость. Налюбовались? Тогда пошли дальше...

Не останавливаясь, мы пересекли пустой сектор почти прямоугольной формы. Два человека внизу ползали на коленях, размечая пол полосками ткани и цветными мелками.

– Не помню точно, что тут будет, – заметил Рюб, – кажется, полевой госпиталь американских экспедиционных сил близ Вими во Франции, в 1918 году...

Мы смотрели вниз на часть укрытой снегом фермы в Северной Дакоте в середине зимы 1924 года. Воздух здесь был морозный, и через полминуты мы продрогли насквозь. Мы стояли над перекрестком в Денвере в 1901 году – кусок улицы, вымощенной булыжником, трамвайные рельсы и бакалейная лавочка под ветхим навесом; двое мужчин в халатах заносили туда товар. Рюб опять облокотился на перила рядом со мной и пробормотал:

– Реконструировано на основе семи десятков старых фотографий. В нашем распоряжении есть отличнейший стереоскопический вид плюс данные множества замеров на местности. Мы еще не кончили – сейчас как раз завозят продукты, в точности соответствующие тому времени. Когда завезем, все станет так, как было когда-то, можете не сомневаться... – Он бросил взгляд на часы. – Есть еще несколько секторов, но нам с вами пора к Данцигеру...

Мы повернули обратно: я впереди, Рюб сзади.

– А наш нью-йоркский объект и дублировать не надо. Мы с вами отправимся туда после обеда. Вы, наверно, проголодались? Недоумеваете? Устали и раздражены?

– Вот именно, – признался я, – да и ноги гудят.

4

Мы перекусили в кафетерии на шестом этаже, в комнате без окон – ее освещал вездесущий дневной свет, – площадью немногим больше стандартной гостиной, с полом, выложенным бледно-голубыми и желтыми плитками. Данцигер уже поджидал нас за столиком. Мы взяли подносы, и он помахал нам рукой; перед ним были кусок яблочного пирога и чашка с бульоном, прикрытая блюдцем, чтобы не остыл. Мы с Рюбом принялись толкать наши подносы по хромированному выступу вдоль прилавка. Я взял стакан чая со льдом и сэндвич с ветчиной и сыром, Рюб – бифштекс по-швейцарски с овощным гарниром. Кассы в конце прилавка не оказалось, денег с нас никто не потребовал. Рюб, забрав свой поднос, заявил, что, мол, увидимся позже, и присоединился к мужчине и женщине, которые только-только начали есть. Я со своим подносом направился к столу доктора Данцигера и по пути огляделся. Кроме нас троих, в кафетерии было всего человек семь-восемь, да еще могло бы поместиться человек десять-двенадцать. Пока я, не садясь, разгружал свой поднос, Данцигер понял мои мысли и улыбнулся.

– Да, – сказал он, – предприятие наше небольшое. Наверно, самое небольшое из всех значимых для истории современных государственных предприятий – приятно сознавать, что это именно так. В постоянном штате у нас всего около пятидесяти человек – со временем вы познакомитесь с большинством из них. При необходимости мы привлекаем людей и средства других государственных организаций. Однако действуем с расчетом, чтобы никто не понял, чем мы тут занимаемся, и не задавал лишних вопросов.

Он снял блюдце, накрывавшее чашку с бульоном, взял ложку и подождал, когда я сорву обертку со своего сэндвича, есть который мне, впрочем, совершенно не хотелось. Нервы у меня были взвинчены до предела, и аппетит не приходил – вот выпил бы я с удовольствием.

– Мы, – продолжал Данцигер, – обеспечиваем секретность не тем, что ставим на бумагах отпугивающие грифы, и не тем, что заказываем какие-нибудь значки для посвященных, а полной своей неприметностью. Президент, разумеется, знает, чем мы тут занимаемся, хотя, возможно, он не очень-то уверен, знаем ли мы это сами. А может, он и не помнит о нас. Кроме того, о нашем проекте известно, пожалуй, только двум членам правительства, нескольким сенаторам и конгрессменам и кое-кому в Пентагоне. Я предпочел бы обойтись без них, но ведь от них зависят наши финансы. Однако в общем-то жаловаться мне не на что: я сдаю отчеты, их принимают, и претензий до сих пор никто не предъявлял.

Я что-то пробормотал в ответ. Соседями Рюба по столу были девушка, которая танцевала чарльстон, и молодой человек примерно ее же возраста. Данцигер перехватил мой взгляд.

– Еще два счастливчика: Урсула Данке и Франклин Миллер. Она была учительницей математики в школе в Игл-Ривер, штат Висконсин, а он администратором магазина в Бейкерсфилде, Калифорния. Она – для северодакотской фермы, а он – для Вими. Вы, кажется, видели, как он упражнялся в штыковом бою. Потом я познакомлю вас, а теперь хочу спросить: что вы знаете об Альберте Эйнштейне?

– Ну, он носил свитер с пуговицами, длиннющую шевелюру и здорово знал математику.

– Совсем неплохо. Остается лишь немного продолжить эту характеристику. Слышали ли вы о том, что много лет назад Эйнштейн высказал гипотезу, согласно которой свет имеет вес? Пожалуй, самая невероятная мысль, какая только могла прийти человеку в голову. Собственно, до Эйнштейна она никому и не приходила: ведь подобная мысль противоречит всем нашим представлениям о свете. – Данцигер внимательно посмотрел на меня; мне было интересно, и я постарался дать ему это понять. – Но астрономы нашли способ проверить гипотезу. Во время солнечного затмения они установили, что лучи света вблизи Солнца изгибаются в его сторону. Иначе говоря, притягиваются силой его тяготения. А из этого со всей неизбежностью следует, что свет имеет вес. Альберт Эйнштейн оказался прав, он выиграл спор.

Данцигер смолк и отхлебнул несколько ложек бульона. Мой сэндвич оказался вполне съедобным: много масла и сыр неплохой на вкус – только теперь я понял, что проголодался. А Данцигер опустил ложку, промокнул губы салфеткой и вернулся к прежней теме:

– Прошло какое-то время. Гениальный ум продолжал свою работу. И вот Эйнштейн вывел формулу: $E = mc^2$. И да простит нас Господь, два японских города исчезли в мгновение ока, доказав, что он опять прав.

Я мог бы говорить и говорить: список открытий Эйнштейна очень внушителен. Но я перейду прямо вот к чему. Однажды он заявил, что наши концепции времени в значительной мере ошибочны. И я ни минуты не сомневаюсь, что и на сей раз он прав. Ибо одним из последних его вкладов в картину мироздания незадолго до смерти было доказательство, что все его теории едины. Они взаимосвязаны, и каждая из них обуславливает и подтверждает все остальные; вместе взятые, они дают почти законченное объяснение тому, как функционирует Вселенная. И получается, что она функционирует совсем не так, как мы думали раньше.

Пытливо глядя на меня, Данцигер принялся снимать красный целлофан с крекеров, какие обычно подаются к бульону.

– Я где-то читал о том, как он понимал время, но, по правде сказать, немного понял.

– Он имел в виду, что мы ошибаемся в наших концепциях прошлого, настоящего и будущего. Мы считаем, что прошлое миновало, что будущее еще не наступило и что реально существует только настоящее. Ибо настоящее – это то, что мы видим вокруг.

– Ну, если вас интересует мое мнение, то я скажу, что и мне так кажется.

Данцигер улыбнулся.

– Безусловно. И мне тоже. Это вполне естественно, и сам Эйнштейн на это указывал. Он говорил, что мы вроде людей в лодке, которая плывет без весел по течению извилистой реки. Вокруг мы видим только настоящее. Прошлого мы увидеть не можем: оно скрыто за изгибами и поворотами позади. Но ведь оно там осталось!..

– Разве он имел в виду – осталось в буквальном смысле? Или он хотел сказать...

– Он всегда говорил точно то, что хотел сказать. Когда он говорил, что свет имеет вес, он имел в виду, что солнечный свет, падающий на пшеничное поле, действительно весит несколько тонн. И теперь мы знаем – измерили, – что это так. Он имел в виду, что чудовищную энергию, которая по теории связывает атомы вместе, можно высвободить в одном невообразимом взрыве. И действительно можно, и этот факт коренным образом повлиял на судьбы человечества. И в отношении времени он сказал именно то, что хотел сказать: что прошлое там, за изгибами и поворотами, действительно существует. Оно там на самом деле есть... – Секунд десять Данцигер молчал, вертя в пальцах красную полоску целлофана. Потом взглянул на меня и сказал просто: – Я физик-теоретик, до недавнего времени преподавал в Гарвардском университете. И мое небольшое дополнение к великой теории Эйнштейна состоит в том, что человек... что человек может и должен суметь сойти с лодки на берег. И пешком пройти вспять к одному из поворотов, оставленных позади.

Я старался как мог, чтобы глаза не выдали мелькнувшего у меня подозрения: вот передо мной сидит, быть может, талантливый, располагающий к себе, но дико заблуждающийся старик, который как-то сумел убедить уйму людей в Нью-Йорке и Вашингтоне содействовать ему в осуществлении его невероятных фантазий. Неужели только я один догадывался об этом? Видимо, нет; ведь не далее как сегодня утром Россоф пошутил – а если с горькой иронией? – что я стал участником небывалого розыгрыша. Я задумчиво покачал головой.

– Как это: пешком вспять?

Данцигер допил остаток бульона, наклоняя чашку, чтобы извлечь последние капли, а я доел свой сэндвич. Потом он поднял голову и взглянул мне прямо в глаза, и я понял, что он не сумасшедший. Чудак – да, заблуждающийся – очень может быть, но в своем уме, и вдруг я почувствовал: я рад, самым настоящим образом рад, что попал сюда.

– Какой сегодня день недели? – спросил он.

– Четверг.

– А число?

– Двадцать... шестое? Так?

– Я вас спрашиваю.

– Двадцать шестое.

– А месяц какой?

– Ноябрь.

– А год?

Я назвал, хоть и не совладал с улыбкой.

– Откуда вы это знаете?

Стараясь найти какой-нибудь ответ, я уставился на внимательное лицо Данцигера, на его лысый череп; в конце концов я пожал плечами.

– Не понимаю, какого ответа вы от меня ждете.

– Тогда я отвечу за вас. Вы знаете, какой сегодня год, месяц и число, буквально по миллионам примет. Потому что одеяло, под которым вы сегодня проснулись, вероятно, хоть частично синтетическое. Потому что у вас дома есть, наверно, ящик с выключателем – стоит повернуть выключатель, и на стеклянном экране появятся изображения живых людей, которые станут болтать всякую чепуху. Потому что, когда вы шли сюда, красные и зеленые огоньки указывали вам, когда переходить дорогу; потому что подметки ваших ботинок тоже синтетические и продержатся дольше кожаных. Потому что, если мимо вас пронеслась пожарная машина, она требовала себе дорогу сиреной, а не колоколом. Потому что школьники, которых вы встретили, одеты были именно так, а не иначе, и потому что негр, с которым вы разминулись на улице, посмотрел на вас искоса, да и вы на него тоже, но оба постарались не показать этого. Потому что первая страница «Нью-Йорк таймс» сегодня именно такая, какой она никогда раньше не была и больше никогда не будет. И потому что миллионы, миллионы и миллионы подобных фактов встречаются вам весь день-деньской.

Большинство этих фактов возможно только в XX веке, многие – только во второй его половине. Одни факты возможны только в этом десятилетии, другие – только в этом году или только в этом месяце и некоторые, немногие – только в один определенный день, только сегодня. Вы, Сай, со всех сторон окружены бесчисленными фактами, которые, как десять миллиардов невидимых нитей, привязывают вас к нынешнему веку... году... месяцу... дню... секунде.

Он взял вилку, намереваясь ткнуть ею в пирог, но вместо этого поднял и постучал ручкой себе по лбу.

– А здесь у вас еще миллионы невидимых нитей. Вы знаете, например, кто в настоящее время президент страны. Знаете, что Фрэнк Синатра мог бы уже стать дедушкой. Что по прериям не бродят больше стада бизонов и что кайзер Вильгельм не представляет больше опасности. Что монеты у нас теперь чеканят из меди, а не из серебра. Что Эрнест Хемингуэй умер, что все нынче делается из пластика и что, сколько ни пей кока-колы, жизнь от этого лучше не станет. Список можно продолжать бесконечно, он составляет неотъемлемую часть вашего, да и общественного сознания. И он связывает вас и всех нас с тем днем и тем мгновением, когда единственно возможен такой – и никакой другой – список. Убежать от него нельзя, и я сейчас покажу вам почему. – Данцигер смял бумажную салфетку и положил ее на край тарелки. – Кончили? Хотите чего-нибудь еще?

– Нет, спасибо, я сыт.

– Не слишком обильный обед, зато полезный. Во всяком случае, так говорят. Пошли на крышу. Свой пирог я возьму с собой.

Выйдя из кафетерия, мы прошли коротеньким коридорчиком и поднялись по цементным ступенькам к двери, ведущей на крышу. Утренний дождь прекратился, небо почти очистилось – только на горизонте стлались тучи, и несколько человек сидели здесь в парусиновых шезлонгах, подставив лица солнцу. При звуке наших шагов они повернулись к нам, иные попытались заговорить, но Данцигер лишь улыбнулся и помахал им рукой. Крыша была огромная – целый квартал вара и гравия, самая обыкновенная крыша, если не обращать внимания на десятки новых рам потолочного освещения и целый лес труб и вентиляционных выводов. Пригибаясь, чтобы пройти под ржавыми растяжками более высоких труб, и обходя попадающиеся там и сям лужи, мы добрались до пятна послеполуденной тени у подножия деревянной водонапорной башни. Данцигер жевал свой пирог, а я озирался вокруг.

Вдали, к юго-востоку, виднелась громада «Пан Америкэн Эрзуэйз», в тени которой терялся весь район вокруг вокзала Грэнд-сентрал. Еще дальше торчала серая верхушка Крайслер-билдинг, а справа от нее и еще дальше к югу – Эмпайр-стейт-билдинг. За ним стояла почти сплошная стена тумана, уже подкрашенного желтизной фабричных дымов. К западу, всего в каком-то квартале от нас, протекала река Гудзон, напоминающая мутный серый канализационный сток, – впрочем, таковым она и является. За Гудзоном высился крутой берег Нью-Джерси. К востоку между домами проглядывала узкая полоска Сентрал-парка.

Данцигер махнул вилкой, целясь куда-то в невидимый горизонт.

– Что лежит там? Нью-Йорк? И за ним весь мир? Да, конечно, можно считать и так – Нью-Йорк и весь мир, каков он есть сегодня. Но с неменьшим основанием можно сказать, что там лежит двадцать шестое ноября. Там лежит день, в который вы сегодня утром вошли, и он сплошь заполнен неизбежными фактами и фактиками, делающими его именно сегодняшним днем. Завтрашний день будет почти таким же, и все же не совсем. Где-то какие-то предметы придут в негодность – сегодня их используют в последний раз. Треснутая тарелка наконец разламывается, волос-другой поседеет у корня, даст о себе знать первый признак болезни. Кто-то, живой сегодня, завтра умрет. Какие-то строящиеся здания окажутся на шаг ближе к завершению, а другие – к сносу. И там, вдали, с той же неизбежностью будут лежать немножко другой Нью-Йорк и другой мир и, следовательно, другой день. – Данцигер пошел к краю крыши, на ходу дожевывая свой пирог. – Неплохой пирог. Попробовали бы. Я позаботился, чтобы у нас был хороший повар...

На крыше было славно: солнце, отражаясь от ее поверхности, приятно грело лицо. Мы остановились у края, опершись на балюстраду. Данцигер опять махнул рукой в сторону города.

– Перемены, происходящие от одного дня к другому, как правило, слишком незначительны и не бросаются в глаза. И все-таки эти крохотные ежедневные перемены привели нас к современности от тех лет, когда вместо светофоров и воющих пожарных машин мы увидели бы отсюда возделанные поля, ручьи и рощи, пасущихся коров, мужчин в треуголках и британские парусники, стоящие на якоре в чистых водах Ист-Ривер, под сенью прибрежных деревьев. Когда-то все это было именно так, Сай. Можете ли вы сегодня разглядеть это?

Я старался. Я пялился на бесчисленные тысячи окон, прорезанные в сотнях закопченных стен, и вниз на улицы, почти насквозь забитые крышами машин. Я тщился повернуть историю вспять и рисовал себе деревенский ландшафт и человека в башмаках с пряжками и белом парике с косичкой, вышагивающего по пыльной грунтовой дороге, которую называли «широкий путь» – «бродвей». Тщился – и не мог.

– Не можете, правда? Разумеется, не можете. Вчерашний день вы способны увидеть: во всех своих основных чертах он еще цел. Многое осталось и от шестидесяти пятого, шестидесяти второго, пятидесяти восьмого годов. Кое-что осталось даже от девятисотого. И несмотря на однообразные стеклянные коробки, на строения-уроды вроде «Пан Америкэн», на все другие преступления, совершенные против природы и людей, – он помахал рукой перед своим лицом, будто стирая их с глаз долой, – существуют еще и фрагменты более ранних времен. Отдельные

здания. Иногда группы зданий. А подальше от центра сохранились целые кварталы, стоящие на своих местах по пятьдесят, семьдесят, восемьдесят, а то и по девяносто лет. Есть местечки, которым больше ста лет, а иные помнят даже Вашингтона...

На крыше появился Рюб в легком пальто и фетровой шляпе и вежливо остановился в нескольких шагах от нас, вне пределов слышимости.

– Эти уцелевшие остатки, Сай, – Данцигер еще раз ткнул вилкой в горизонт, – дошли до нас от дней, некогда таких же реальных, как сегодняшний, лежащий перед нами; это фрагменты яркого утра в апреле 1871 года, серого зимнего дня 1840 года, дождливого восхода 1793 года. – Он мимолетно, краешком глаза взглянул на Рюба, затем вновь на меня. – Каждый такой вещественный пережиток, по моему мнению, нечто вроде чуда. Вы когда-нибудь видели «Дакоту»?

– Что-что?

Он кивнул.

– Если б вы ее хоть однажды видели, то запомнили бы и название. Рюб!

Рюб выступил вперед, как бойкий лейтенант, являющийся на вызов полковника.

– Покажите, пожалуйста, Саймону «Дакоту».

Покинув стены бывшего склада, мы с Рюбом двинулись на восток, к Сентрал-парку; плащ и шляпу я забрал по пути на первом этаже. Затем мы повернули на Уэст-драйв, аллею, проходящую по парку у самой западной его границы. Мы шли в тени деревьев – некоторые из них еще сохраняли листву, чистую, умытую утренним дождем, и Рюб, осмотревшись по сторонам, проговорил:

– Парк и сам по себе, признаться, совершенное чудо, неподвластное времени. Здесь, в центре одного из самых быстро меняющихся городов мира, сохранился не просто кусочек прошлого, а несколько сотен гектаров, практически не тронутых десятилетиями. Наложите план Сентрал-парка восьмидесятих годов XIX века на современный – и они почти совпадут. Детали, разумеется, изменились: скамейки, урны для мусора, надписи и указатели, покрытие дорог и тропинок. Но взгляните на старые фотографии – и, за исключением машин на дорогах, никакой разницы, заметной, скажем, с высоты шести-семи этажей, вам обнаружить не удастся...

Рюб неплохо рассчитал, когда произнести свои слова, – возможно, знал по опыту: мы как раз миновали последнее дерево и свернули с Уэст-драйв к выходу на Семьдесят вторую улицу, и тут он поднял руку и показал вперед:

– Если, к примеру, смотреть на парк из верхних окон вон того дома...

Я увидел дом и застыл на месте. По ту сторону улицы, фасадом к парку, высилось большое – чуть не целый квартал – здание, не похожее ни на что виденное мной в Нью-Йорке (рис. 1). Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы убедиться в правоте Данцигера: это был великолепный пережиток другого времени. Позже я пришел сюда еще раз – после снегопада, как нетрудно понять, – и отснял целую катушку пленки с видами здания; управляющий даже провел меня на крышу. Первый снимок сделан в точности с того места, где стояли мы с Рюбом, – дом из светло-желтого кирпича, красиво отделанный темно-коричневым камнем: другие снимки подтверждают, что каждый из восьми его этажей почти вдвое выше, чем этажи современного жилого дома, построенного рядом.



Рис. 1

– Вот так-то жили люди восьмидесятых годов, сынок! В иных квартирах по семнадцать комнат, и больших притом; в такой квартире немудрено и заблудиться. По крайней мере в одной из этих квартир есть утренняя приемная, вечерняя приемная, несколько кухонь, уж и не знаю сколько ванных и танцевальный зал. Стены по сорок сантиметров толщиной – настоящая крепость. Осмотрите весь дом не спеша, он стоит того.

Рюб сказал чистую правду. Я смотрел и смотрел, подмечая все новые удивительные детали: роскошные резного камня балконы под некоторыми из высоких старомодных окон; балкон с оградой из витого железа, опоясывающий весь седьмой этаж; полукруглые эркеры, поднимающиеся вдоль стен, как колонны, до самой крыши, где их венчали купола.

– Это и есть «Дакота». Построена она в самом начале восьмидесятых годов, когда тут был фактически пригород. Говорили тогда, что до этого дома отовсюду так далеко, будто он где-нибудь в штате Дакота. Так его и прозвали – во всяком случае, легенда такова. Вас, наверно, не удивит, если я скажу, что года два-три назад группа граждан, ратующих за технический прогресс, жаждала снести «Дакоту» и возвести на ее месте еще одно современное чудище с большим числом квартир на той же площади, низкими потолками, картонными стенами и уж, конечно, никаких вам залов и комнат для прислуги, зато, можете не сомневаться, солидные барыши владельцам. К счастью, на сей раз у жильцов нашлись деньги, чтобы воспротивиться подобным планам: в доме живет довольно много состоятельных знаменитостей. Они организовались и выкупили «Дакоту», так что пока ей ничто не угрожает. Если только ее не снесут при прокладке какой-нибудь новой автострады, прорезающей город прямо через Сентрал-парк.

– А можно зайти туда посмотреть, что внутри?

– Сегодня некогда.

Я бросил на дом последний взгляд.

– Оттуда должен быть чудесный вид на парк.

– Будьте уверены.

Рюб внезапно словно потерял к «Дакоте» всякий интерес, взглянул на часы, и мы зашагали обратно по Уэст-драйв. Вскоре мы вышли из парка, и впереди показалось огромное склад-

ское здание с выцветшей надписью под самой крышей: «Братья Бийки, перевозки и хранение грузов, 555–8811».

Если в кабинете Данцигера я ожидал увидеть роскошную, впечатляющую обстановку – а я именно того и ожидал, – то глубоко заблуждался. На черно-белой пластмассовой табличке у двери была одна только фамилия: Е. Е. Данцигер – и ничего больше. Рюб постучал, Данцигер крикнул: «Войдите!» Рюб приоткрыл дверь, пригласил меня войти, а сам удалился, пробормотав, что увидимся потом. Данцигер держал у уха телефонную трубку и жестом указал на стул рядом с собой. Я сел – плащ и шляпа опять остались внизу – и огляделся, стараясь в то же время не показаться слишком любопытным.

Кабинет как кабинет, меньше, чем у Россофа, и гораздо скромнее обставленный. Он выглядел даже каким-то незавершенным, как кабинет человека, которому положено его иметь, но который проводит здесь не слишком много времени. На полу лежал простенький стандартный ковер, на одной стене висела небольшая книжная полка, на другой – фотография женщины с прической в стиле тридцатых годов, на третьей – огромный аэрофотоснимок городка Уинфилда, штат Вермонт, но сделанный под другим углом, чем тот, который я видел утром. Письменный стол Данцигера явно прибыл сюда прямо из магазина канторских принадлежностей, как и два обтянутых кожей металлических стула для посетителей. В углу на полу стояла солидная картонная коробка, доверху набитая отпечатанными на ротаторе материалами. На столе у дальней стены лежало что-то внушительное под чехлом из прорезиненной ткани.

Данцигер закончил свой телефонный разговор – что-то о том, что кто-то должен подписать какие-то документы. Он выдвинул верхний ящик стола, достал сигару, снял обертку, затем разрезал сигару канторскими ножницами ровно пополам и протянул одну половинку мне. Я покачал головой, и он положил ее обратно в ящик, другую половинку сунул в рот, но не зажег, а сказал:

– «Дакота» вам понравилась.

Это был не вопрос, а констатация факта. Я кивнул, улыбнувшись, и Данцигер улыбнулся в ответ.

– В Нью-Йорке есть и другие здания, сохранившиеся неизменными с давних пор. Многие из них не хуже, а некоторые и гораздо старше «Дакоты», и все-таки она – нечто уникальное. И знаете почему?

Я покачал головой.

– Предположим, что вы стоите у окна верхнего этажа и смотрите вниз, в парк: дело происходит, скажем, на заре, когда машин может не быть вообще. Здание, где вы находитесь, сохранилось без изменений со дня постройки, в том числе и комната, в которой вы стоите, и, возможно, даже стекло, сквозь которое вы смотрите. И что поистине уникально для Нью-Йорка: то, что вы видите из окна, тоже не изменилось!..

Перегнувшись через стол, Данцигер сверлил меня глазами, неподвижный как изваяние, если не считать половинки сигары, которая медленно перекатывалась из одного угла рта в другой.

– Слушайте дальше! – сказал он резко. – Фирма, когда-то ведавшая «Дакотой», сохранилась и поныне, и мы сделали микрофильмы со всей их ранней документации. Мы точно знаем, когда и как долго пустовали квартиры, обращенные окнами к парку. Представьте себе одну из этих квартир пустующей летом 1894 года – так оно и было. Представьте себе, что мы снимаем ту же квартиру на те же месяцы будущего лета – что мы и сделали. А теперь постарайтесь понять меня. Если Эйнштейн и на сей раз прав – а он безусловно прав, – то, каким бы невероятным это ни казалось, лето 1894 года все еще существует. Эта пустая, безмолвная квартира существует тем давно прошедшим летом точно так же, как она существует летом наступающим. Одна и та же, неизменившаяся, она реально существует в обоих временах. И я считаю

возможным – понимаете, едва-едва возможным и все-таки возможным, – что будущим летом человек сможет выйти из этой неизменившейся квартиры и очутиться в том, другом лете.

Он откинулся в кресле и глядел мне в глаза, пожевывая сигару, которая знай себе качалась во рту.

– Так просто? – спросил я после длительной паузы.

– О нет! – Он резко наклонился вперед. – Совсем не так просто! – воскликнул он и неожиданно улыбнулся. – Несчетные миллионы нитей, закрепленных вот здесь, Сай, – он прикоснулся ко лбу, – привязывают того человека именно к нынешнему лету, какой бы неизменной ни была окружающая его квартира.

Он опять откинулся назад и все смотрел на меня, продолжая чуть-чуть улыбаться. И потом сказал очень просто и по-деловому:

– Но можно сказать, Сай, что весь проект начался в ту минуту, когда мне пришла в голову мысль, что, вероятно, есть способ перерезать эти нити.

Теперь я понял – я понял цель проекта. Собственно, я догадывался и раньше, но теперь это было высказано вслух. Довольно долго я сидел и размеренно кивал, а Данцигер ждал, что я скажу. Наконец я решился:

– Зачем? Зачем понадобилось их перерезать?

Он разлегся в кресле, свесив длинную руку через спинку, и пожал плечами.

– Зачем братьям Райт понадобилось построить аэроплан? Чтобы дать работу стюардессам? Чтобы нам удобнее было бомбить Вьетнам? Нет. Я полагаю, в тот момент они думали только об одном: а выйдет ли? Я полагаю, так же думали и те, кто запускал первые искусственные спутники Земли. Им тоже хотелось посмотреть: а выйдет ли? Как ребятам, которые запалили шутиху под консервной банкой, чтобы посмотреть, взлетит ли она. И, на мой взгляд, это веская причина. Потом, конечно, понапридумали всяких впечатляющих целей, чтобы оправдать невероятные расходы на такие игрушки, а сперва, мой мальчик, все, что делается, делается просто ради интереса: а выйдет ли? Вот и у нас тот же вопрос...

По мне, причина была достаточно веской.

– Хорошо, – сказал я, – но почему Уинфилд в 1926 году? Или Париж в 1451-м? Или квартиры в «Дакоте» в 1894-м?

– Место действия для нас не имеет значения. – Данцигер вытащил половинку сигары изо рта, с неприязнью осмотрел ее и сунул обратно. – Да и время тоже. Это лишь подходящие цели – и только. У нас нет никакого особого интереса к индейцам племени кроу. Или же к 1850-му или любому другому определенному году. Но случилось так, что в штате Монтана есть более тысячи гектаров государственной земли, почти нетронутой с пятидесятих годов прошлого века. На четыре, от силы на пять дней министерство сельского хозяйства берется закрыть проложенную там дорогу – не будет ни машин, ни междугородных автобусов – и не допустить пролета самолетов. Оно берется также снабдить нас стадом бизонов в тысячу голов. Если бы мы могли заполучить всю местность в свое распоряжение на месяц, нам не понадобилась бы декорация на «Большой арене». С ее помощью наш человек привыкнет к обстановке и, надемся, сможет с полной отдачей воспользоваться теми несколькими днями, которыми мы будем располагать на местности.

Что касается Уинфилда, – Данцигер кивком показал на фотографию, – то это небольшой городок в районе истощенных сельскохозяйственных угодий, почти покинутый жителями. В течение последних сорока лет он медленно умирал, население уходило. И вот уже тридцать лет никто не тратится на модернизацию и попытки оттянуть неизбежное. Это типичная история для многих районов Новой Англии. Уинфилд более изолирован, чем другие «города-призраки», и мы закупили его через посредников в качестве удобного объекта. Якобы для строительства плотины на его месте.

Он усмехнулся.

– Мы закрыли ведущую в городок дорогу, а теперь реконструируем его. Наши люди снимают неоновые трубки, демонтируют дисковые телефонные аппараты, вывинчивают матовые электрические лампочки. Мы уже вывезли оттуда почти все электроприборы, всякие там машинки для стрижки газонов и тому подобное. Мы сдираем отовсюду весь пластик, реставрируем старые здания и сносим те, что поновее. Мы даже снимаем с отдельных улиц асфальт и превращаем их снова в чудесные грунтовые дороги. Когда мы закончим, маленький, забытый богом Уинфилд будет опять точно таким, каким он был в 1926 году. Ну, так что вы об этом думаете?

– Звучит внушительно, – улыбнулся я. – И дорого.

– Вовсе нет, – уверенно ответил Данцигер. – Обойдется немногим более трех миллионов долларов – меньше, чем стоят два часа войны, и, право же, это лучшее помещение капитала. Хоть и предпринятое ради одного человека: вы видели его сегодня на «Большой арене».

– Тот, на крыльце дощатого домика?

– Да. Это точная копия дома в Уинфилде. И Джон там сейчас делает все, что может, чтобы создать в себе настрой жизни в Уинфилде в 1926 году. Затем, когда и он, и мы будем готовы, в течение десяти дней – таков наибольший практически разумный срок – примерно двести актеров и статистов начнут ходить по восстановленным улицам Уинфилда, ездить в старых машинах, сидеть на крылечках в теплые дни. Им всем объявят, что они участвуют в опытной киносъемке скрытыми камерами, снимающими неотретированные, достоверные движения любого из них, как только он выходит из дома. Человек двадцать из двухсот – те, кто вступит с Джоном в непосредственный контакт, – будут нашими людьми. Мы надеемся, что к тому моменту Джон окажется морально готов наилучшим образом использовать эти короткие десять дней.

Пожевывая свой огрызок сигары, старик уставился на огромную фотографию на стене кабинета. Потом снова повернулся ко мне.

– Такова цель всех наших декораций на «Большой арене». Все они – предварительные, временные двойники действительных объектов, еще не готовых или таких, которыми мы не можем пользоваться достаточно долго. Не очень-то много, например, сохранилось на земле тысячелетних зданий, и одно из них – собор Парижской Богоматери. В нашем распоряжении будет лишь пять часов: от полуночи до утра. На острове Ситэ и по обоим берегам Сены в пределах видимости от собора будут выключены свет и газ. Мы получили также разрешение установить кое-какие декорации в непосредственной близости от собора. Это самое большее, чего мы смогли добиться – через Госдепартамент – от французского правительства. Оно считает, что мы собираемся снимать кино. Мы даже подготовили сценарий, в меру посредственный, что, по-видимому, их убедило окончательно. Никто из нас не возлагает на парижскую попытку больших надежд: для ее осуществления у нас будет всего несколько часов, а этого, боюсь, слишком мало. И уж слишком далеко в прошлое мы забираемся – способен ли кто-нибудь действительно почувствовать сердцем, что было тогда? Сомневаюсь, но не теряю надежды. Делаем что можем на каждом объекте, какой находим, – только и всего...

Данцигер встал и, поманив меня, подошел к накрытому чехлом столу.

– Конечно, есть еще множество деталей, но существо проекта вы теперь знаете. Самое интересное я приберег напоследок – ваше задание.

Он стащил пыльный чехол – под ним оказался отлично исполненный объемный макет. Из зеленой, покрытой барашками воды торчал островерхий лесистый островок. Отделенный от острова проливом, тянулся усыпанный галькой пляж, а над ним косо вверх поднимался крутой берег. Наверху кручи рос лес, и среди деревьев стоял белый домик с незастекленной верандой.

– Все это мы сейчас воссоздаем на «Большой арене», – Данцигер пальцем прикоснулся к вершине лесистого островка. – Это Эйнджел-Айленд в бухте Сан-Франциско; принадлежит он штату и федеральному правительству. Не считая скрытых за деревьями давно покинутых

иммиграционных барачков и заброшенной пусковой площадки ракет «Найк», остров выглядит так же, как в начале века, когда этот дом, – он дотронулся до миниатюрной крыши, – был новым. Дом стоит и поныне, и никаких новых построек из него не видно, разве что из задних окон. А Эйнджел-Айленд загораживает мосты через бухту. Стало быть, не считая современных кораблей и катеров в проливе, местность точно такая же, как прежде. А в течение двух полных дней и еще одной ночи мы получим в свое распоряжение и пролив: там появятся два торговых парусника и несколько судов помельче. – Данцигер с улыбкой возложил большую, тяжелую руку мне на плечо. – Сан-Франциско всегда был заманчивым туристским объектом. Но говорят, что до землетрясения 1906 года город был особенно прекрасен, совершенно неповторим. И вот он-то – Сан-Франциско, 1901 год – и есть ваше задание.

Кому по нраву срывать кульминацию! Момент был какой-то невинно драматический, и жаль было разрушать его, но приходилось. Я хмуро покачал головой:

– Нет. Если за мной сохранено право выбора, доктор Данцигер, то я предпочел бы не Сан-Франциско. Я предпочел бы сделать попытку здесь, в Нью-Йорке.

– В Нью-Йорке? – Он недоуменно передернул плечами. – Я бы лично не стал, но если вам так нравится, пожалуйста. Я думал, что предлагаю вам нечто исключительное, но в конце концов...

Чувствуя себя неловко, я прервал его:

– Извините, доктор Данцигер, но я имею в виду не Нью-Йорк 1894 года.

Теперь он уже не улыбался – он стоял и внимательно смотрел на меня, размышляя, вероятно, о том, не ошибся ли он во мне.

– Вот как? – сказал он тихо. – А какого же?

– Января – не помню точно, какого числа, но я выясню – 1882 года.

Я еще не кончил говорить, а он уже мотал головой.

– Зачем?

– Чтобы... чтобы увидеть, как один человек отправляет письмо, – ответил я, понимая, что звучит это в лучшем случае глупо.

– Просто увидеть? И только? – спросил он с любопытством.

Я кивнул, он резко повернулся, шагнул к своему столу, поднял телефонную трубку и набрал двузначный номер.

– Фрэн! Проверьте наши данные по «Дакоте» – они на микроплёнке. Были ли свободные квартиры, выходящие в сторону парка, в январе 1882 года?

Мы стали ждать. Я разглядывал макет на столе, обошел его со всех сторон, пригибаясь и щуря глаза. Вдруг Данцигер схватил ручку и стал быстро записывать что-то в блокноте. Затем со словами «Спасибо, Фрэн» он повесил трубку, вырвал из блокнота листок и обернулся ко мне. В голосе его звучала досада:

– С прискорбием должен сообщить вам, что в январе 1882 года есть две свободные квартиры. Одна на втором этаже, и она не годится, зато другая на седьмом, и свободна она больше месяца, начиная с первого января и до февраля. Откровенно говоря, я надеялся, что ничего подходящего не будет, значит, из вашей затеи ничего не выйдет, и дело с концом. Поймите, Сай, тут не должно быть личных мотивов. Это очень серьезное предприятие, и для подобных вещей в нем не должно оставаться места. Так что, может, вы скажете, что у вас на уме?

– Охотно. Но я хочу не просто сказать – я хочу показать. Завтра утром. Когда вы увидите все своими глазами, то, надеюсь, дадите согласие.

– Не думаю. – Он опять покачал головой, но глаза у него теперь снова стали дружелюбными. – Тем не менее покажите мне, что там у вас есть. Утром, если хотите. А сейчас идите-ка, Сай, домой. Денек у вас сегодня выдался напряженный...

5

Месяца через три после нашего знакомства с Кэтрин я как-то раз проводил ее домой. Уже не помню точно, где мы были в тот вечер. Ездили мы на ее таратайке, и я, как обычно, загнал старушку на тротуар, втиснул в щель между магазином и соседним домом, и мы выкарабкались через багажник. В своей квартирке над магазином Кейт первым делом поставила чайник. Все было как всегда, и тем не менее мы, по-моему, оба знали – знали, уже когда снимали пальто, что каким-то таинственным образом перешагнули сегодня некую невидимую грань и отношения между нами, до того носившие как бы предварительный характер, приняли вполне определенное направление. И Кейт вдруг начала рассказывать о себе.

Она внесла чай, подала мне чашку, села возле меня на диван и принялась говорить, словно мы оба решили, что настала пора говорить, – а впрочем, мы, пожалуй, и в самом деле решили. Большая часть того, что она рассказывала в тот вечер, не имеет ничего общего с моим повествованием, но спустя какое-то время она спросила:

– Ты знаешь, что я сирота?

Я кивнул: она говорила мне об этом и раньше. Когда Кейт было два года, ее родители уехали однажды на выходной, а ее, по обыкновению, оставили у соседей – Айры и Белл Кармоди. Жили они все тогда в Уэстчестере. Кармоди были значительно старше супругов Мэнкузо, но водили с ними добрую дружбу и, бездетные сами, обожали малютку Кейт. По пути домой родители девочки погибли в автомобильной катастрофе.

Кейт осталась у Кармоди, а когда выяснилось, что забрать ее некому – ближайший родственник, двоюродный брат матери, жил в другом штате и никогда не видел Кейт в глаза, – Кармоди официально удочерили ее, на что двоюродный брат с радостью согласился. Кейт, конечно, и не помнила своих настоящих родителей; Кармоди были для нее как отец и мать.

Итак, я кивнул: да, я знал, что Кейт сирота. Тогда она встала, прошла к себе в спальню и вернулась, держа в руках красную блестящую картонную папку с красными же шнурками-завязками. Села, раскрыла папку на коленях, разыскала там какую-то бумажку и – все мы в душе актеры-любители с самого рождения, – вместо того чтобы вынуть ее, принялась рассказывать, разжигая мое любопытство:

– Отцом Айры был Эндрю Кармоди, довольно известный нью-йоркский финансист и политический деятель, хотя и не из первой десятки. Позже он как-то растерял и умение делать деньги, и самое свое состояние. Вершиной его карьеры были девяностые годы, когда он выступал кем-то вроде советника при президенте Кливленде – Айра как раз тогда и родился.

Чтобы сказать хоть что-нибудь, я спросил:

– И что он насоветовал Кливленду?

– Не знаю, – улыбнулась Кейт. – Надо полагать, ничего особенного. Как историческая личность, он не бог весть что собой представлял. Айра говаривал, что в самой подробной истории второго президентства Кливленда ⁴ отцу, вероятно, уделили бы одно маленькое подстрочное примечание. Но в мыслях Айры отец занимал важное место, потому что покончил с собой. Уж не знаю, сколько лет было Айре в момент самоубийства, но мысли об отце не покидали его до собственного смертного часа.

Кейт вытащила руку из папки; в пальцах она держала маленький черно-белый фотоснимок.

– Эндрю Кармоди, когда разорился вконец, переехал с семьей в 1898 году в маленький городишко Джиллис, штат Монтана. Много лет спустя, уже взрослым, Айра вновь поехал туда, на противоположный конец страны, чтобы проверить, действительно ли могила отца такова,

⁴ Кливленд Гровер (1837–1908) был президентом Соединенных Штатов дважды: в 1885–1889 и 1893–1897 годах.

какой он помнил ее с детства. Память не подвела его. – Кейт подала мне снимок. – Айра сфотографировал ее в то лето: это плита на могиле Эндрю. Когда-нибудь мне хотелось бы съездить туда, взглянуть на нее...

Судя по снимку, плита возвышалась над землей не более чем на полметра – она была заметно ниже соседних плит и к тому же перекосилась влево. Могила у подножия плиты заросла редкой травкой, тут и там торчали облетевшие одуванчики. И вдруг я не без удивления увидел, что значки, выбитые на камне, вовсе не буквы: на ней не было вообще никакой надписи, только непонятный узор. Я поднес снимок ближе к глазам, наклонил к лампе, стоявшей у изголовья, – узор представлял собой составленную из многих точек девятиугольную звезду, вписанную в окружность.

Я смотрел на снимок, вероятно, целую вечность – минуту, не меньше. Он захватывал своей абсолютной достоверностью: где-то там, через всю страну, на окраине маленького городка в Монтане и по сей день, видимо, лежит этот странный камень, испятнанный и выщербленный жарой и холодом, сменой дождей и засух многих и многих лет. Наконец я поднял взгляд на Кейт:

– Жена поставила эту штуку ему на могилу?

Кейт кивнула.

– Это-то и не давало Айре покоя.

Она опять пошарила в папке и вытащила длинный небесно-голубой прямоугольник – конверт.

– Эндрю Кармоди застрелился. Однажды летом. Сидя у себя в маленьком дощатом домике. И вот это он оставил на столе...

Я взял конверт. На нем была зеленая трехцентровая марка с профилем Вашингтона – я такой никогда не встречал – и круглый почтовый штемпель: «Нью-Йорк, штат Н.-Й., Гл. почтамт, 23 янв. 1882, 6.00 веч.». Ниже, черными чернилами, шел адрес: «Эндрю У. Кармоди, эсквайру. Пятая авеню, 589». Нижний правый угол конверта слегка обгорел, будто его подожгли, а потом почти сразу же погасили. Я перевернул конверт: обратного адреса не было.

– Загляни внутрь, – сказала Кейт.

Внутри лежал листок белой бумаги, сложенный пополам и с одной стороны слегка обугленный – видно, он находился в конверте, когда тот поднесли к огню. В верхней части листка черными чернилами было написано тем же аккуратным почерком, что и на конверте: *«Если вам интересно обсудить некоторые вопросы относительно каррарского мрамора для здания городского суда, соблаговолите прийти в парк ратуши в четверг в половине первого»*. Ниже линии сгиба синими крупными полуразборчивыми буквами, с четырьмя кляксами, было нацарапано: *«Поистине невероятно, чтобы отправка сего могла иметь следствием гибель (здесь как будто не хватало одного-двух слов в конце строки, где бумага обгорела) мира в пламени пожара. Но это так, и вина безраздельно (еще одно обгоревшее слово) на мне, и от нее не уйти и не отречься. И вот, не в силах больше взирать на вещественную эту память о том событии, я прекращаю свою жизнь, которой следовало бы прекратиться тогда»*.

Губы мои дрогнули, я едва не усмехнулся: уж очень все это казалось неправдоподобно. Я глядел на обгоревший листок – и не мог представить себе, что человек способен сочинить такую напыщенную, многословную записку, а потом приставить к груди пистолет и застрелиться. И все же факт оставался фактом: каков бы ни был стиль послания, передо мной – я взглянул на него еще раз, и уже без усмешки – был крик отчаяния, суть последних минут человеческой жизни. Я вложил записку в конверт и посмотрел на Кейт.

– Гибель мира? – переспросил я, но она лишь качнула головой.

– Никто не знает, что он хотел сказать. За исключением, быть может, матери Айры. Она вбежала в комнату – я так живо представляю себе это, Сай, представляю вопреки собственной воле, мне эта сцена не по душе, – звук выстрела еще отдавался в ушах, в комнате стоял запах

пороха, тело мужа неуклюже навалилось на стол; она схватила конверт, подожгла, потом погасила пламя и решила сохранить письмо. Врача она не вызвала. На дознании после похорон она заявила, что Эндрю выстрелил себе в сердце и что было яснее ясного – он мертв. Тут же, не откладывая, она сама обмыла и одела труп и не позволила ни гробовщикам, ни кому бы то ни было даже зайти в дом, пока не подготовила тело для похорон.

В масштабах городка это был крупный скандал, и Айру в детстве неоднократно им попрекали. Но мать Айры ничто не смутило. На дознании, глядя следователю прямо в лицо, она заявила, что о смысле предсмертной записки не имеет ни малейшего представления, а ее поступки после смерти мужа – ее личное дело и никого не касаются. Десять дней спустя она поставила на могиле плиту, так никогда никому ничего и не объяснив.

История эта преследовала Айру всю жизнь. Он задавал себе один и тот же вопрос: почему, в чем дело? А теперь тот же вопрос задаю себе я.

И я задавал себе тот же вопрос. Мы о многом переговорили тогда. Я рассказывал Кейт о своей жизни, главным образом о первом своем браке и разводе и о том, что мне тут с течением времени стало ясно, а что неясно – тема, которой я раньше всячески избегал. Но даже рассказывая о сокровенном – а слушательница мне попалась внимательная и заинтересованная, – я невольно возвращался мыслями к Эндрю Кармоди и спрашивал себя: почему, в чем же там было дело?

Пожалуй, самое сильное чувство, движущее родом человеческим, сильнее чувства голода и чувства любви, – это любопытство, неодолимое желание узнавать. Оно может стать, и нередко становится, целью всей жизни; из-за него, случается, прищемляют себе не только носы – стремление удовлетворить свое любопытство может вырасти в самую важную, самую волнующую из всех эмоций. И вот утром в пятницу я сидел в кабинете доктора Данцигера, с нетерпением ожидая, что же он скажет. Он меня выслушал. Рассмотрел снимок, голубой конверт и записку, которые я одолжил у Кейт. И долго сидел, молча глядя на меня из-за стола. Одет он был сегодня в темно-синий двубортный костюм и белую рубашку с галстуком-бабочкой; я пришел в своем вчерашнем сером костюме. Выдержав паузу, он снова взял записку и прочитал вслух: *«Поистине невероятно, чтобы отправка сего могла иметь следствием гибель... мира в пламени пожара. Но это так...»*

– И вы хотели бы, – он неожиданно усмехнулся, – стать свидетелем «отправки сего», не так ли? Ну что ж, не осуждаю. Я бы на вашем месте, наверно, тоже захотел. Только, Сай, зачем вам это? Что вы надеетесь выяснить? Самое большее – вам станет известен еще один обрывочек тайны, и он будет преследовать вас всю жизнь, а вы ничего не сможете предпринять. Надеюсь, вы понимаете, – он перегнулся ко мне через стол, – что ни о каком, даже самом пустячном вмешательстве в события прошлого не может быть и речи? Изменить прошлое значило бы изменить вытекающее из прошлого будущее. Последствия такого вмешательства совершенно невозможно себе представить, и связанный с ним риск ничем нельзя оправдать.

– Ну, разумеется! Я все прекрасно понимаю. Просто хочу посмотреть, кто отправил это письмо. Знаю, что это немного даст. Может, и вовсе ничего... Но... как вам объяснить...

– Не надо мне объяснять. Я вас понимаю. И тем не менее...

– Если опыт удастся, я так или иначе буду наблюдать что-то. Так почему бы не это?

– В принципе, конечно, возражений нет. Я боялся, что вы именно так и поставите вопрос. Ну ладно, Сай. Вчера после вашего ухода я позвонил членам совета. Все равно у нас на днях было намечено очередное заседание, и я попросил перенести его на сегодня. Правда, вчера я еще не знал, что у вас на уме, но предположил, что, быть может, решение придется принимать всем вместе. Вы понимаете, что я не всегда волен действовать самостоятельно. Я доложу совету. Но уверен: они вам тоже откажут.

Некоторое время спустя Данцигер представил меня членам совета. Заседание проходило в довольно просторном конференц-зале наподобие тех, какие бывают в рекламных агентствах:

передвижная классная доска, на стенах из прессованных панелей – изрядное количество крупных фотографий и набросков, в основном декорации или проекты декораций для «Большой арены», и длинный стол, за которым расположились мужчины в пиджаках и без пиджаков. Данцигер повел меня вокруг стола, представляя всем собравшимся по очереди. Некоторых я уже знал: в числе членов совета оказался Рюб – он улыбнулся и подмигнул мне, – а также один инженер, с которым Рюб познакомил меня вчера в коридоре. Были там также профессор истории из Колумбийского университета, на удивление молодой человек с интеллигентным лицом; лысый кругленький метеоролог из Калифорнийского технологического института; профессор биологии из Чикагского университета, в самом деле похожий на профессора; профессор истории из Принстона, похожий на комика с афиши варьете; армейский полковник в штатском – подтянутый, с пронизательными глазами человек по фамилии Эстергази; угрюмого вида сенатор и еще несколько человек. Компания подобралась, я полагаю, довольно высокая, но по тому, как они смотрели на меня, как жали мне руку, я вдруг сообразил, что явился сюда не просителем, а почетным гостем. До меня, можно сказать, дошло, что именно ради меня да еще пяти-шести таких же, как я, собралось это заседание и собираются другие ему подобные, дошло, что именно мы составляем соль всего проекта. По дороге в кафетерий я осознал, так сказать, свою значительность, потом сел за столик с чашкой кофе и принялся ждать Данцигера.

Он пришел минут через двадцать с довольной и слегка удивленной миной, сел со мной рядом и сообщил, что совет удовлетворил мою просьбу. Оказывается, за меня вступились Рюб, профессор из Принстона и Эстергази. Они заявили, что вреда от моей затеи не будет, а польза не исключается, и решение было вынесено благоприятное.

– Знаете, – с улыбкой сказал Данцигер, – вы вводите меня в искушение. В 1882 году моей матери исполнилось шестнадцать лет. В день ее рождения – 6 февраля – родители и старшая сестра повели ее в театр Уоллака ⁵, и именно там она познакомилась с моим отцом. Историю эту любили рассказывать у нас в семье. Отец был жизнерадостный светский молодой человек. Перед спектаклем он увидел тетушку Мэри, известную в те времена особу, промышленявшую торговлей яблоками у театральных подъездов, и, сам не ведая почему, вдруг дал ей золотую пятидолларовую монету на счастье. В ответ она сказала, что сегодняшний вечер будет для него поистине счастливым; он вошел в фойе и обратил внимание на девушку в зеленом бархатном платье. Людей, с которыми разговаривала она и ее родители, он знал и подошел к ним, его представили, а через несколько лет они поженились. Так что сами понимаете, на что вы меня натолкнули...

Я кивнул, а Данцигер откинулся в кресле.

– Часто, очень часто я теряю веру в этот проект. Все начинает казаться бессмысленным, невозможным. Но если вдруг удастся, Сай, если вы действительно попадете в Нью-Йорк той поры и, стоя незаметно где-нибудь в уголке фойе, увидите их встречу... Раз уж есть одна личная причина, почему бы не появиться и второй? Я был бы очень вам признателен, если бы вы набросали для меня их портреты, какими они были тогда.

Я сидел, согласно кивая, внимая его словам, а сам чувствовал, что с той радостной минуты, когда Данцигер сообщил мне о согласии совета, мое возбуждение вдруг пошло на спад и вера в проект этого странного старика начала убывать, будто из меня выдернули какую-то пробку. Чувство это приходило и уходило вновь и вновь, так что к понедельнику я уже почти привык к нему.

⁵ Уоллак Джеймс Уильям (1795–1864) – знаменитый американский актер и режиссер, основавший в 1861 году собственный театр.

6

В воскресенье я побрился в последний раз. Утром в понедельник в аудитории, куда Данцигер просил меня явиться, меня встретили десять манекенов, выстроившихся у стенки и накрытых бумагой. Я прошелся вдоль этой шеренги, борясь с желанием приподнять бумагу и посмотреть, что же там такое. Но не успел я набраться духу и решиться, как в комнату вбежал худенький человечек лет, как мне показалось, двадцати шести и представился Мартином Лестфогелем, моим инструктором. Мы обменялись рукопожатием и немедленно решили, что будем обращаться друг к другу просто по имени. Я присел на стул-парту и наблюдал, как он, стоя за кафедрой, шарит в своем потрепанном портфеле; кожаные ремешки давно перекрутились от старости, а пониже замка виднелись остатки истертой наклейки, на которой некогда значилось: «Колумбийский ун-т».

«Ну и уродец», – подумал я. Подбородок у него был слишком мал, чтобы уравновесить большой, острый и очень длинный нос; волосы тоже были длинные – не стрижены недели три, а не чесаны, наверно, все четыре. Но когда он поднял глаза, они оказались дружелюбными, живыми и умными, а позже я узнал, что у него очаровательная жена, считающая его гением, и что лет ему ни много ни мало – сорок один.

– Ладно, – сказал Мартин, найдя искомое, а именно стопку карточек с записями; он любовно провел большим пальцем по ребру карточек и положил их аккуратным рядком на углу стола. – Я ведь никакой не преподаватель, так что говорите сразу, если что непонятно или неясно. Я исследователь, один из немногих счастливчиков, которые зарабатывают себе на жизнь тем, что им действительно нравится. Мне нравятся исторические розыски. Спросите меня, как освещались улицы в Париже XIV века, если они освещались вообще, или из чего делались мужские парики в XVIII, или как заворачивали топленое сало в мясной лавке в Новой Англии в 1926 году – и я буду рыться в мусоре прошлого, чтобы выискать для вас ответ.

Последние два-три дня, – продолжал он, – я ковырялся в восьмидесятих годах прошлого века и буду ковыряться еще. Период очень заброшенный, и непонятно почему – тогда происходило немало интересных событий. Но меня приставили к вам не только с целью напичкать вас фактами относительно того времени. Ведь и сегодня, в XX веке, вы прекрасно обходитесь без знания многих относящихся к нему фактов. – Мартин вышел из-за кафедры, подошел к крайнему манекену и взялся за прикрывавшую его бумагу. – Потому я и не считаю, что вам надо знать все о восьмидесятих годах. А вот что вам надо – так это почувствовать их.

Он сдернул с манекена бумажное покрывало. Под покрывалом оказалось старое обвисшее платье из какой-то тяжелой темной материи, и я поднялся на ноги, чтобы осмотреть его. Оно безжизненно свисало с манекена, кайма подола касалась пола, длинные широкие рукава беспомощно болтались по сторонам. Ворот был высокий, а по груди и обшлагам шел сложный гарусный узор.

– Мы одолжили это в Смитсоновском институте специально для вас, – сказал Мартин. – Доставили самолетом. Платье сшито в начале восьмидесятих годов и сношено тогда же. Люди приходят в музей Смитсоновского института, рассматривают подобные экспонаты и делают вывод, что вот так и одевались их бабушки. – Он затряс головой. – Да ничего похожего! Зарубите себе на носу, что ничего похожего! Обратите внимание на цвет – если это можно назвать цветом. Старые краски были нестойкими, Сай! – Он произнес это с таким пылом, будто я спорил с ним. – Десятилетиями эта штука выцветала, тускнела, пока никакого цвета не осталось совсем! А материал! Весь сморщился, в одних местах сел, в других вытянулся, нитки и те истлели. Даже гарус успел стать черным. – Мартин постучал пальцами мне по плечу. – Вот что вам надо понять, более того – почувствовать: женщины восьмидесятих годов были не привидениями, а живыми женщинами, которые ни за что не надели бы этот мешок! – Он ткнул

большим пальцем в ветхое платье. – Женщина, которой это принадлежало, что же она носила на самом деле? А вот что! Вот что она себе сшила на званый вечер!..

Мартин рывком стащил покрывало со следующего манекена, и я увидел – нет, не платье, а роскошный наряд из темно-малинового бархата с мягким неизношенным ворсом, ниспадающий спереди и сзади великолепными тяжелыми складками. Гарусная отделка искрилась, сверкала красными блестками, переливалась, словно платье двигалось. Зрелище было захватывающее – с потолка шел ровный свет, и одеяние горело, как драгоценный камень.

Мартин пытливо поглядел на меня, потом взмахнул рукой, указывая на новое платье, и спросил:

– Можете вы представить себе женщину, нет, девушку – живую, из плоти и крови, – надевшую это платье и ставшую в нем совершенно неотразимой?

И я воскликнул:

– Черт возьми, да! Я представляю ее себе танцующей. . .

В течение целой недели – я то и дело ощупывал свою отрастающую бороду – мы осматривали бесконечные коллекции мужских и женских платьев, головных уборов, а также всякие сумочки, муфты, перчатки – оригинал и следом копию, оригинал и копию. Однажды утром я держал в руках женскую туфлю из ломкой, растрескавшейся серо-черной кожи. Носок и опояска по верху туфли безобразно выцвели, перламутровые пуговицы выщербились – не обувь, а какая-то допотопная диковина. Но Мартин тут же подал мне дубликат из свежей мягкой кожи, с новенькими пуговками из блестящего перламутра, с ярко-алым носком и такой же опояской поверху. Мартину нельзя было отказать в воображении: туфля была новая, да не совсем. Кожа пахла как новая, но подошва была слегка поцарапана, каблук по краям чуточку сбит, а на подъеме наметилась легкая складка.

– Вся беда с вещами, которые приходят к нам из прошлого, – сказал Мартин, улыбаясь, – состоит в том, что они одряхтели. Они – реликвии, и только. Они могут, конечно, рассказать нам кое-что о прошлом, но, как правило, не возникает и намек на ощущение, что ими действительно когда-то пользовался живой человек. – Он кивком показал на туфлю, которую я держал в руках. – А вот эта могла бы принадлежать живой хозяйке, хоть нам и пришлось воссоздавать каждый шов. . .

Я тоже кивнул: нетрудно было представить себе девушку, сидящую на краю кровати: вот она надевает эту туфлю, застегивает ее и любит ее, поворачивая ногу туда-сюда, чтобы заставить блестящую кожу играть на свету.

В течение нескольких дней мы с Мартином листали книги с пожелтевшими страницами и заплесневелыми обложками. Уголки страниц рассыпались под пальцами – только призраки могли бы читать такие книги. Затем Мартин извлек из ящика точные копии тех же книг, но в ярких новых красных, голубых, зеленых обложках с названиями, тисненными золотом, со свежими белыми страницами, еще пахнущими типографской краской. Ясно было, что эти книги никто еще не читал – пока не читал. И где-то в глубине моего сознания восьмидесятые годы начали мало-помалу оживать.

Однажды в обеденный перерыв мы с Мартином встретили в кафетерии Рюба, и он подсел к нам за столик. Потом весь остаток дня он водил меня по кабинетам: мы заходили в столярную и слесарную, портняжную и сапожную мастерские, в библиотеку, в конференц-зал, в диспетчерскую «Большой арены», в крошечный кинозал и во все другие помещения, где работали люди, и Рюб знакомил меня со всеми подряд.

Я познакомился с Питером Марплом, молодым художником – раньше он был декоратором в одном из нью-йоркских театров, и совсем неплохим декоратором: как выяснилось, я видел даже несколько спектаклей, оформленных по его эскизам. Я познакомился с Лэрри Макдермоттом, главным фотографом проекта, который раньше подрабатывал в том же рекламном агентстве, что и я. Познакомился с техниками, стенографистками, инженерами и бухгалте-

ром. Познакомился с доцентом-историком, прибывшим из Калифорнийского университета, и несколькими людьми, должностные функции которых остались мне неизвестными; про одного из них Рюб сказал: «Наш главный спец по взяткам», на что тот ответил просто усмешкой.

Познакомился я и со всеми своими коллегами – кандидатами в путешественники по времени, кроме двух, уже занятых на «Большой арене»: Джона Макнотона, обитателя домика в Вермонте, и Джорджа Уинга, индейца племени кроу, бывшего армейского старшины, ныне проживающего в одном из виденных мной вигвамов. Среди кандидатов был тот, кого я наблюдал на занятиях по старофранцузскому языку; у нас оказался даже общий знакомый, имени которого ни он, ни я так и не смогли припомнить. Была еще мисс Эйлин Джоргенсен, худенькая нервная молодая учительница из Линкольна, штат Небраска, которая только что приступила к изучению Сан-Франциско начала века в аудитории, соседней с моей. И были интересная девушка, танцевавшая чарльстон, и мужчина, тренировавшийся в штыковом бою.

В коридоре по дороге к лифту Рюб заметил:

– Маху мы дали с этой парой. Началось с того, что они стали вместе пить кофе, потом вместе обедать, потом встречаться вне работы. Ну а теперь, понятно, интересуются только друг другом. Они скоро поженятся; это, конечно, славно, но у нас ведь не брачная контора. Маловероятно теперь, чтобы они успешно справились со своими заданиями. Так что мы поневоле вынуждены запереть каждого в своем стойле, и правило стало такое: с другими кандидатами только здороваться и никаких приятельских отношений, понятно?

– Ну раз уж я упустил эту королеву чарльстона, так и быть...

Как-то утром я провел час в кабинете доктора Россофа – он обучал меня самогипнозу. Оказалось, что это на удивление просто, во всяком случае, методика была нехитрой. Россоф усадил меня в свое большое, обтянутое зеленой кожей кресло и посоветовал расположиться поудобнее.

– Закройте глаза, если хотите, хоть это и необязательно. – Я закрыл глаза. – Теперь молча повторяйте про себя, что вам становится все лучше и легче, что вы все больше расслабляетесь и душой, и телом. И пусть оно так и случится. Затем скажите себе, что вы медленно, постепенно впадаете в транс. Легкий транс – вы бодрствуете и понимаете, что происходит. И пусть вас не смущает само слово «транс» – это всего лишь удобный термин. А потом устройте проверку: внушите себе, что вы временно не можете поднять руку, и если вы действительно не сможете ее поднять, значит, вы в транс. Сделайте любое другое гипнотическое самовнушение. Например, если болит голова, скажите себе, что досчитаете до пяти – и боль пройдет. Или сотрите какие-либо мысли, эмоции, воспоминания, и пусть они затем вернутся постгипнотическим внушением. Договорились? Это, между прочим, удивительное оружие.

Я кивнул, и Россоф вышел, оставив меня наедине с собой. Я сделал все, как он велел, и почувствовал себя на редкость хорошо и удобно. Затем я внушил себе, что постепенно впадаю в легкий транс, и мне казалось: я ощущаю, как транс завладевает мной. Сидя совершенно неподвижно, почти в полусне, я уверял себя, что не могу поднять руку, что бессилён двинуть ею. И наконец, уставившись на собственный локоть, попытался ее поднять – рука подскочила так резко, что чуть не выбила мне глаз.

Я предпринял еще одну попытку – не торопясь, прочувствовав, как расслабляется каждая мышца. И единственной частью моего тела, не ведавшей, что я впал в состояние гипноза, оставалась моя рука. Каждый раз она подскакивала, словно старательная, но глупая собака, которая никак не может взять в толк, чего от нее хотят. Вернулся Россоф, выслушал меня и предложил попрактиковаться дома, когда я в самом деле устану и мне захочется спать.

И было еще одно утро, когда Мартин Лестфогель повесил на классную доску экран, а сзади на стенде уже стоял проектор для диапозитивов. Мартин сел рядом со мной, зажав в кулаке панельку дистанционного управления. Щелкнул клавишей – в проекторе зашумел вентилятор, а на экране возник белый квадрат с чуть размытыми краями. Еще щелчок – и квадрат

превратился в резкий черно-белый рисунок, в старую гравюру на дереве. Гравюра изображала городскую сценку, по-видимому восьмидесятых годов: оживленная улица, заполненная каретами, телегами, пешеходами. Исполнение было неплохое, графикой художник владел просто хорошо, но к такой манере не прибегали уже более полувека.

– Сделана, скорее всего, с фотографии, – сказал Мартин приглушенным голосом; не отдавая себе в том отчета, он заговорил тихо, как обычно говорят в темноте. – До изобретения растров многие гравюры для иллюстраций делались прямо по фотографиям. Если я угадал, то перед вами абсолютно достоверное воспроизведение реальной действительности.

Теперь я попал в свою стихию – и откликнулся:

– Сегодня мы так действительность не передаем. Картинка эта напоминает мне японское искусство: плоская перспектива, и у всех без исключения раскосые глаза. Для нас рисунок нереалистичен, однако для зрителей того времени...

– Точно. Можете продолжить лекцию сами и лишить меня куска хлеба. А ведь мне семью содержать надо. Ну ладно. Мы дали копию этой гравюры и кучу других Сиднею Эркхарту. Вы его знаете?

– Видел его работы: уличные сценки, городские пейзажи. В основном акварель. Вполне приличный художник.

– Он умеет показать душу города. Как вы думаете, здесь это удалось?

Мартин нажал клавишу на своей панельке, и на экране появился Сидней Эркхарт, какого я с удовольствием приобрел бы для себя. Та же сценка, которую мы только что видели, также во всех деталях. Но уже не гравюра, а рисунок, к тому же в цвете: контуры, намеченные пером, залиты цветной тушью разных оттенков. Сценка та же, но выполненная в манере импрессионистов: все в ней двигалось. Выезды действительно бежали рысью, а лошади-тяжеловозы блестяли от пота и напряжения. Колеса карет крутились, спицы отсвечивали на солнце, и уса-тый мужчина, перебегавший дорогу под самым носом у лошади, действительно бежал, быстро перебирая ногами. Я их видел. На какую-то долю секунды, едва на экране вспыхнул набросок Эркхарта, я ощутил себя стоящим на тротуаре и наблюдающим сценку собственными глазами – она была почти живая.

Мы провели целое утро за этим занятием: сперва разглядывая рисунок или фотографию начала восьмидесятых годов, а затем «перевод», как называл их Мартин, – работы Эркхарта, Карла Морза, Мюррея Сидорфски или еще кого-нибудь. Не все «переводы» оказывались удачными, иные получились только частично. Но некоторые удались безусловно, и я внезапно с трепетом ощущал, что передо мной подлинное мгновение прошлого.

Задолго до того, как мы закончили, я уже знал, что смогу проделать такую же штуку без посторонней помощи. И совсем необязательно было становиться Эркхартом или кем-нибудь еще: я тоже мог бы всмотреться в старый снимок или гравюру и вжиться в них, вжиться настолько, чтобы всеми чувствами коснуться давнишней реальности, отображенной на бумаге. Уже теперь я мог бы сделать это не хуже авторов многих рисунков там, на экране, а может, и лучше. Я не был, правда, уверен, сумею ли выразить это так же хорошо графически, хватит ли у меня таланта – скорее всего, нет. Но мысленно я могу сделать это лучше – наверняка.

По дороге в кафетерий я поделился своими впечатлениями с Мартином, и он понимающе закивал:

– Мы как раз и надеялись пробудить у вас подобное чувство. Россиф даже предсказал, что так оно и будет. Но времени для собственных эскизов у вас почти не останется, и целью сегодняшнего занятия было дать вам направление: у нас сколько угодно материала, который вы сможете изучить и «перевести» сами...

Следующие три дня я провел один на один с проектором, рассматривая всевозможные виды и сценки восьмидесятых годов и анализируя их в поисках скрытого в каждом зерне реальности, приобретая день ото дня все больший навык и все большую скорость.

А однажды, часа в четыре пополудни, меня завели в портняжную и обмерили с головы до пят. Потом я стоял в одних носках, держа по ведру песка в каждой руке, и сапожник очертил контуры моих ног.

Почти целую неделю Мартин читал мне лекции по своим картотечным записям. Начал он с вопроса: каково было население Соединенных Штатов в 1880 году? Я разделил нынешнюю цифру пополам и ответил, что сто миллионов, но Мартин предложил мне ополовинить ее еще раз – американцев тогда насчитывалось всего пятьдесят миллионов человек, да и те в подавляющем своем большинстве жили к востоку от Миссисипи. По прериям Дальнего Запада еще бродили бизоны, новая трансконтинентальная железная дорога представлялась национальным чудом и вызывала, пожалуй, больше восхищения, чем космические полеты в наши дни, а индейцы еще всюду снимали скальпы с белых пришельцев. Это была иная страна, это был иной мир; еще существовали вымершие ныне животные, да и вымершие социальные системы – Европа была битком набита королями, королевами, императорами, царями и царицами, причем не номинальными владыками, а подлинными самодержцами.

Мартин рассказывал и о том, как тогда путешествовали и перевозили товары. Уже существовали пароходы, и железная дорога насчитывала несколько десятилетий от роду, и тем не менее торговые корабли плавали в основном под парусами, а большинство людей в мире передвигалось либо пешком, либо верхом или конным транспортом. Американцы, как правило, жили и умирали в том же штате и даже в том же населенном пункте, где родились; куда больше народу пересекало океан, чем страну. И тем не менее мир восьмидесятых годов был гораздо ближе к нашему, чем может показаться с первого взгляда.

– Он был другой, Сай, совсем другой, – говорил мне Мартин, – но не чуждый нам мир, и мне сдается, что вы чувствовали бы себя в нем как дома.

Кейт нашла, что мои длинные, спускавшиеся к воротнику волосы и каштановая борода, которую я начал уже подстригать, очень мне идут, и я с ней согласился. По вечерам она стала помогать мне выполнять домашние задания. Как-то раз я повел ее обедать в ресторан на Мэдисон-авеню, пригласив туда также Рюба и доктора Данцигера, и она им понравилась. После этого ей позволили прийти «на склад». Доктор Данцигер лично показал ей «Большую арену», а его секретарша – почти все остальное. Меня на экскурсию не позвали: я был слишком занят с Мартином Лестфогелем.

Таким образом, Кейт теперь сделалась, можно сказать, моей соучастницей, и зачастую вечерами у себя или реже у меня дома она устраивала мне экзамены по лекциям Мартина, сверяясь по его же записям. Она помогала мне вживаться в восьмидесятые годы по снимкам и гравюрам, которые я приносил с собой. Однажды в субботу утром я провел Кейт в свою аудиторию и показал ей реставрированные платья, шляпы, перчатки и обувь того времени; она была в восторге и непременно хотела что-нибудь примерить. Она была мне отличной помощницей и, думаю, намного ускорила усвоение учебного материала. Мартин, во всяком случае, не сомневался, что это так. Она же здорово помогла мне освоить технику самогипноза. Именно с ее слов я наконец представил себе ощущение «впадения в транс» и как-то вечером, сидя у нее в уютном антикварном кресле-качалке, сумел по-настоящему загипнотизировать себя, и рука моя отказывалась, на самом деле не хотела пошевеливаться. Потом я внушил себе, что забыл свой собственный адрес и не вспомню, пока Кейт не заговорит, и долго сидел, тщетно пытаясь вспомнить его, и не мог; было интересно и немного страшно.

По просьбе доктора Данцигера я перестал читать газеты, журналы и современные книги; я отключил также телевизор и радио – и ни на минуту не пожалел об этом. А в один прекрасный день дело дошло до дегустации блюд. Происходила она в кафетерии после обеда, который я по настоянию Мартина пропустил, и в зале не было никого, кроме толстого пожилого повара, доктора Россофа и меня. Сперва повар подал тарелку с отварной бараниной, вареной картошкой и свеклой. Россоф сел напротив, повар встал неподалеку, и оба с легкой усмешкой

наблюдали за мной. Я пощипал с тарелки одного, другого, третьего, пробуя и закатывая глаза, как знаток. Баранину я вообще никогда раньше не ел и попросту не представлял себе, чего от нее ждать. А вот картошка и свекла были какие-то не такие. Я тщательно жевал, стараясь определить, в чем же разница, и Россоф даже поторопил меня:

– Ну?

Я проглотил и ответил:

– Вкусно. Вкуснее, ароматнее, чем я привык.

Россоф и повар усмехнулись снова, и Россоф сказал:

– В восьмидесятые годы овощи выращивали без химических удобрений, без инсектицидов и предпосевной обработки. В них нет ни консервирующих веществ, ни витаминных добавок.

– А варились они в нехлорированной воде, – уточнил повар.

Потом мне дали помадку – сахар для нее рафинировали каким-то дедовским способом, однако, по-моему, она не отличалась от любой другой помадки. Мне подали кусочек бифштекса – он оказался жестче и явно иного вкуса, чем те, какие я ел до тех пор. Было также отличное мороженое из непастеризованных сливок. И немного неразбавленного виски, изготовленного специально для меня, крепкого, плохо очищенного.

И наконец наступил вечер, когда я поужинал у себя дома, вымыл посуду и выкинул из холодильника все, кроме запечатанных бутылок и консервных банок. Потом я присел за карточный столик в гостиной и принялся писать письма и открытки своим друзьям и знакомым.

Я писал, что здесь, в Нью-Йорке, работа у меня что-то не клеится, и вот сегодня, 4 января, повинаясь внезапному импульсу, я пошел и купил подержанную машину, упаковал вещи и завтра же уеду, пока не передумал. Поеду куда глаза глядят, скорее всего, подальше на запад, и буду по дороге делать зарисовки, эскизы и снимки. Сообщу, мол, о себе при первой возможности и свяжусь, как только вернусь. Все это вранье мне не слишком нравилось, но я понимал, что ни лично, ни по телефону не сумею изворачиваться с должной убедительностью.

Открытки и письма я опустил на Лексингтон-авеню, в квартале от своего дома. Бросив их в ящик, постоял, огляделся – вокруг лежал Нью-Йорк второй половины XX века. Впрочем, смотреть было особенно не на что: бесконечные стены, длинная полоса асфальта, по которому ехало одно-единственное такси, да кусок черно-серого неба над головой, откуда не пробивалось даже самой маленькой звездочки. Казалось, выхлопные газы всех машин города, набравшиеся за день, осели именно здесь и нещадно щипали глаза; стало холодать, а с поперечной улицы к Лексингтон-авеню приближалась группа молодых негров, и я не стал ждать, когда они подойдут, чтобы объясниться в своих давних симпатиях к Мартину Лютеру Кингу. Я пошел по авеню вверх и кратчайшим путем вышел к бывшему складу. Я устал, мне хотелось спать – и в то же время я чувствовал, как от волнения гулко бьется сердце.

Через полтора часа, в десять минут второго ночи, мы покинули здание; на улице у дверей стояла маленькая красная машина Рюба. Он сел за руль, доктор Россоф сзади справа, а я слева, чтоб они вдвоем хоть частично прикрыли меня; поверх костюма, надетого мной «на складе» – я старался поменьше думать о костюме, – мы набросили плащ доктора. Скрывать длинные волосы и бороду, разумеется, не было нужды.

Не припомню, чтобы я по дороге проронил хоть слово, но хорошо помню, что все время нервно зевал. Рюб остановился, не доехав метров десяти до главного подъезда «Дакоты», и протянул мне руку; я пожал ее.

– Ну, Сай, желаю удачи, – сказал он. – Хотел бы я оказаться на вашем месте...

Россоф открыл дверцу и вылез из машины. Я передвинулся вдоль сиденья и последовал за ним.

У ворот нас ожидал портье в ливрее; он молча кивнул нам, и мы, никого не встретив, поднялись по широкой старинной лестнице до седьмого этажа. Моя квартира была через несколько дверей по коридору, и я вытащил ключ.

– Мой плащ, Сай, – напомнил Оскар, и я снял плащ и отдал ему.

– Может быть, зайдете? – предложил я, но он только головой покачал; он устался на мой костюм, потом перевел взгляд на мои волосы и бороду, будто увидел их впервые. На лице его отразилось какое-то трепетное удивление.

– Нет. Я полагаю, что сейчас здесь нет места ни для чего и ни для кого из этого времени. – Он протянул мне руку. – Вы знаете, как поступить, когда почувствуете, что готовы.

Мы пожали друг другу руки, и я направился к своей двери, вставил ключ в замок и надавил на массивную резную бронзовую ручку; дверь повернулась на петлях бесшумно, словно совсем ничего не весила – и тем не менее я ощутил, какая она тяжелая. Я оглянулся, чтобы еще раз попрощаться с Россом, но он уже уходил. Вот он завернул за угол, к лестнице, бросил на меня последний взгляд и исчез.

Я вошел в квартиру и прикрыл за собой дверь. Глаза постепенно привыкли к слабому свету, проникавшему сквозь высокие окна. Расположение квартиры я знал: я был здесь однажды с Данцигером и Рюбом, когда закончились работы по реставрации. Приблизившись к окну, я посмотрел вниз, где под луной бледнели извивы аллей и пятнами лежали тени деревьев Сентрал-парка. Да, я знал, что если перегнуться, то прямо под окном я увижу светофоры и редкие машины, скользящие по улице Сентрал-парк-уэст. Подними я глаза – и по ту сторону парка я увидел бы светлячки еще не погасших окон в жилых громадах вдоль восточной его стороны. Посмотри я направо – и я неизбежно заметил бы неоновые рекламы на крышах отелей у южной оконечности парка, а еще дальше – огни больших небоскребов центра.

Но я не смотрел ни вправо, ни влево. Я смотрел только на тени Сентрал-парка и на лунную дорожку, что блестела на пруду почти прямо передо мной, и думал: вот так же она блестела и тогда, когда этот дом был новым. Там и сям вдоль аллей горели фонари, окруженные ореолом легкого ночного тумана, и мне представлялось, что они, вероятно, выглядят так же, как много десятков лет назад.

Я помнил, что на окне есть тяжелая зеленая штора, – я опустил ее в темноте, затем задернул бархатные гардины. Прodelал то же самое со всеми другими окнами, вытащил из кармана коробку спичек и чиркнул одну о подметку. Она зашипела, занялась – по черенку потек расплавленный воск, – потом загорелась спокойным пламенем. Прикрыв пламя рукой, я поднес спичку к резной бронзовой Г-образной трубке, выступающей из стены. Под стеклянным колпаком вспыхнул голубоватый клинышек огня, осветив неверным полукругом серый с цветастым узором ковер у моих ног; наконец свет стал ровным.

Секунду-другую я смотрел на комнату, на окружающую меня обстановку. Было почти два часа ночи. Два часа ночи на 5 января 1882 года, напомнил я себе, осознав вдруг, что эксперимент начался.

7

Я готовлю довольно сносно, хотя кухня, как правило, бывает полна дыма – в общем, похлостаячки. А теперь, спустя неделю после того, как я перешел на самообслуживание, даже воспоминания о настоящей вкусной еде заметно потускнели. Сегодня у меня на ужин предполагались свиные отбивные и картошка, жаренная в сале, и я надеялся, что в виде исключения оба блюда поспеют одновременно. Уверенности в этом я, однако, не испытывал и, взясь на кухне, подумал о том, что собственная готовка мне порядком приелась; тут я усмехнулся: «приелась» было явно не то слово.

Мальчик-разносчик с Фишборнского рынка доставил отбивные утром к черному ходу квартиры. Я стоял в дверях в своих черных, неглаженных шерстяных брюках без обшлаг, широких помочах, тяжелых черных ботинках на пуговицах, рубашке в бело-зеленую полоску без воротничка, но с запонками под него спереди и сзади, и двубортной черной жилетке с плетеным кантом; поперек живота тянулась тяжелая часовая цепочка чистого золота. Я вручил мальчику написанный карандашом заказ на мясо и бакалейные товары на завтра и дал ему пять центов на чай. С одной стороны монеты был выбит щит, с другой – большая цифра 5; мальчик рассыпался в благодарностях. Убирая мясо в ледник, я представил себе, как он взбирается на облучок своего легкого фургона. Летом парусиновые борта фургона закатываются наверх, а когда пойдет снег – его ждали со дня на день, – фургон заменят большие сани.

Мясо, которое я уложил на слой льда, было завернуто в грубую бумагу и перевязано бечевкой – никакого вам целлофана или гуммированной ленты. В первый раз кто-то об этом позабыл, но на следующий день кто-то другой, видимо, заметил ошибку, и больше она не повторялась. О масле и сале тоже позаботились; их доставляли в плоских ковшичках из тонюсеньких дощечек, и каждый ковшичек обертывали в такую же бумагу.

Картошка моя жарилась вовсю на огромной черной, набитой углем плите, а я приглядывал за ней, изредка помешивая. Мне нравилось на кухне: она была просторная, с солидным круглым деревянным столом и четырьмя высокими деревянными стульями посередине. Плита по размеру напоминала большой канцелярский стол, но отличалась от него множеством никелированных завитков. Одну стену целиком, от пола до потолка, занимал исполинский посудный шкаф; за стеклянными дверцами на покрытых клеенкой полках стояли фарфоровая и стеклянная посуда, кастрюли и сковородки.

Огонь, пылающий в плите, наполнил кухню теплом, стало уютно, окна затуманились. Я отвернулся от плиты, перешел к шкафу, достал полбуханки хлеба из большого красного хлебного ящика и отрезал себе три толстых куска. Уж их-то я съем целиком – единственной по-настоящему вкусной вещью, какую я теперь ел, оставался хлеб. «Может, именно хлеб и спасает тебя от голодной смерти», – подумал я; разговаривать сам с собою вслух я еще не научился. Хлеб был домашний, выпеченный ирландкой, которая, по ее словам, торговала им только вразнос.

У меня уже вошло в привычку обедать и ужинать прямо на кухне, чтобы не таскать посуду туда-сюда. Вот и сегодня я ужинал здесь, почитывая вечернюю газету, которую подобрал у дверей. Сегодня было 10 января, так что передо мной лежал свежий хрустящий номер «Нью-Йорк ивнинг сан» от 10 января 1882 года. Ознакомившись с ним и отужинав – отбивные оказались вполне съедобны, хоть и несколько суховаты, зато полусырую картошку не стал бы есть и умирающий с голоду стервятник, – я вытащил из кармана часы и нажал кнопчку сбоку, чтобы отщелкнуть золотую крышку, прикрывающую циферблат. Они показывали самое начало восьмого – на четыре минуты впереди кухонных часов, которые еще не пробили. Какие часы правильные, я не понял, да это и не имело значения: никаких развлечений на вечер не предвиделось. Сейчас семь, следовательно, когда перемою посуду, будет полвосьмого. Потом, до девяти,

пораскладываю пасьянсы, затем лягу и в постели посмотрю последний номер еженедельной «Иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли», доставленный сегодня почтальоном...

А через несколько дней у меня были гости. Я вымыл посуду после ужина, расставил ее на сушилке, зажег свечку в фарфоровом подсвечнике, выключил газ над столом и раковиной и двинулся по длинному коридору к гостиной, прикрывая свечку рукой. Там я зажег одну настенную горелку и лампу на столе, скользнул глазами по окнам – на улице уже стемнело, рассмотреть за окнами я ничегошеньки не мог – и опустился в кресло. Кресло было обито материей цвета спелой сливы, а на ручках и понизу украшено, наверно, целым миллионом кисточек.

Когда раздался звонок, я буквально подпрыгнул. Мне и в голову не приходило, что кто-нибудь может позвонить ко мне: мальчик-разносчик всегда стучал. По правде сказать, я даже не знал, что на двери есть звонок, и поспешил к ней едва ли не бегом, опасаясь, не случилось ли беды.

На площадке стояли, улыбаясь, Рюб Прайен и черноволосая кареглазая женщина. На Рюбе было пальто по самую щиколотку, с коричневым меховым воротником, в руке он держал котелок и еще что-то, чего я в полумраке площадки не разглядел. Женщина была в таком же длинном темно-синем пальто с капюшоном и в белом шарфике, завязанном под подбородком.

– Привет, Сай, – сказал Рюб. – Проходили мимо и решили заглянуть. Наше счастье, что застали хозяина дома.

– Заходите, заходите! – воскликнул я, обрадованный как мальчишка. – Хорошо надумали, что пришли!..

Рюб представил мне свою спутницу – ее звали Мэй, – и я принял у них пожитки. У Рюба в руках оказались две пары коньков – собственно, просто лезвий, прикрепленных к деревянным площадкам и снабженных кожаными ремешками. Выяснилось, что они собирались в парк покататься на коньках – флаг, по словам Рюба, поднят, и костры горят. Он предложил мне присоединиться к ним, однако я отказался: благодарю за честь, но, к сожалению, кататься не умею. Я сварил им кофе, а когда вернулся, Мэй сидела за фисгармонией и просматривала ноты.

Фисгармония по размерам и по виду походила на пианино и разукрашена была лишь чуть побольше Тадж-Махала. Желтое дерево – кажется, дуб – несло на себе неимоверное количество всевозможных резных, пиленых и точеных завитушек, словно целая орава спятивших резчиков по дереву атаковала инструмент и превратила бы его в кучу стружек и опилок, если бы их не оттащили за волосы. Мэй взяла чашку; ее простое шерстяное платье, коричневое, в цвет глазам, доходило почти до пола, белый воротничок был заколот спереди серебряной брошью, а черные волосы с пробором посередине собраны сзади в тугий узел. Рюб, восседающий в деревянной качалке, выглядел просто бесподобно: сюртук с четырьмя пуговицами и узкими высокими лацканами, жесткий стоячий воротничок с острыми уголками и черный галстук, заколотый золотой булавкой; на ногах у него красовались высокие черные ботинки на пуговицах, такие же, как у меня.

Мэй поставила чашку, раскрыла ноты и заиграла нечто под названием «О спрячь меня», а потом «Фуникули, фуникула!». Играла она неплохо, и мы с Рюбом сидели, слегка улыбаясь, покачивая в такт головами и всячески притворяясь, что музыка нам нравится. Потом мы минуту-другую потолковали о погоде, о вчерашнем пожаре на Девятой улице, о прокладке туннеля под Гудзоном. Я предложил им выпить, но Рюб ответил: нет, пора, а то они, чего доброго, и до катка не дойдут – и они ушли. И оставили меня в таком возбуждении, что я целый час не мог успокоиться; я пытался читать, но только через час начал хоть примерно понимать смысл того, о чем читал.

* * *

Тяжкие последствия имел этот визит и на следующий день. После завтрака и обязательной «Нью-Йорк таймс» я вдруг почувствовал, что сыт по горло и не желаю больше обманывать самого себя. Все это притворство показалось мне совершеннейшей глупостью, и, вместо того чтобы приняться за книжку, которая была у меня в руках, я запустил ее в кресло. Я стоял посреди гостиной, физически ощущая на себе не одежду, а надоевший театральный костюм, явственно представляя себе настоящий Нью-Йорк, раскинувшийся вокруг, с кинотеатрами, спектаклями, кабаре, радио, телевидением, а главное – с людьми, которых смертельно хотелось видеть; а ведь для этого надо всего-то выйти за дверь. Над городом пролетали самолеты – я слышал их рев. Город был запружен автомобилями – он раскинулся рядом, только я не видел его, он вздымался к небесам стеклом, сталью и камнем, – а Нью-Йорк восьмидесятых годов давно обратился в прах.

Однако, едва начавшись, бунт мой тут же пошел на убыль, и я уже знал, что через минутую другую сумею без насилия над собой снова войти в роль. Наверно, почти каждому из нас случалось проводить отпуск в каком-нибудь глухом уголке, вдали от газет и телевидения. Повседневный мир остается где-то далеко-далеко, и постепенно осознаешь: единственное, что имеет значение, – это окружающая тебя обстановка и сиюминутные твои дела.

Так и здесь. Желание включить телевизор становилось все более смутным; воспоминание о том, что испытываешь, сидя за рулем автомашины, – тоже. А последние слышанные мною новости, как внутренние, так и международные, давно устарели. Все ощущения, свойственные миру, из которого я ушел, заметно притупились, а ведь то, что мы делаем, о чем думаем, чего хотим, – по большей части дело привычки. И оказалось вовсе не трудно прикрыть на мгновение глаза, потом оглянуться, поднять книжку и начать ее читать с того самого места, где я остановился вчера ночью, как если бы ничего не произошло.

И все же дни сменялись днями, а я не предпринимал ни одной попытки – понимал, что потерплю неудачу. Время текло, как будто я выздоравливал после долгой болезни – медленно, безо всяких усилий, без чрезмерной скуки, но и без волнений, часы и дни таяли, как лед по весне. Внешний мир провалился куда-то в небытие, и единственной реальностью осталось мое теперешнее существование. А в нем все соответствовало 15, 16, 17, 18, 19 января... 1882 года. И я почти, почти верил в то, что так оно и есть. Но за окнами... Если бы не здания, окружающие Централ-парк, он с высоты, вероятно, выглядел так же, как и тогда. Снимок на следующей странице сделан, когда я в первый раз заходил ненадолго в свою квартиру. И теперь, глядя ночью или на заре вниз на парк, я старался укрепить в себе ощущение XIX века, простирающегося окрест. Но однажды, когда мне уже начинало казаться, что я близок к цели, через поле зрения пронесся темно-красный «Мустанг» со сверкающими колесами и приподнятым задом. И уж во всяком случае, я ни разу не рискнул поднять глаза от старых аллей и тропинок, сознавая, что за парком явственно и незыблемо виден XX век.

Как-то после обеда я сидел в гостиной. Часа в четыре – часы на кухне, почудилось мне, только недавно пробили, – я поднял глаза от книжки: что-то изменилось. Я огляделся: нет, все на месте. Потом я посмотрел вверх – потолок как-то посветлел, изменился падающий на него с улицы свет. И еще что-то. Стены у «Дакоты» отличались редкой толщиной, снаружи доносились лишь самые резкие звуки, и то приглушенно; но теперь не стало и их. Ни гудков, ни воя тормозов, ни визга шин – полнейшая тишина. И вдруг откуда-то издали до меня долетел радостный ребячий крик.

С книжкой в руках я приблизился к окну, выглянул – и даже дух захватило: все покрывал сплошной слой свежего, чистого, сверкающего снега, а мимо окна неслись и неслись мириады крупных хлопьев. Улица внизу замерла, на ней не осталось ни одной машины – те, что стояли,

отъехали, прежде чем снег захватил их в плен. Мостовая Централ-парк-уэст сияла нетронутой белой гладью, светофоры бессмысленно меняли свет с зеленого на красный, с красного на зеленый, а в парке – в парке было просто великолепно. Там было движение: детишки в красном, голубом, коричневом, зеленом бегали, скакали, падали, валялись в снегу, черпали его пригоршнями, кидались снегом, ели его. Кое-кто успел уже прихватить санки, и целый рой детей копошился вокруг огромного снежного кома выше их ростом.

Грозы и метели приводят меня в восторг; с полчаса, не меньше, простоял я у окна, глядя, как мимо несутся огромные снежные хлопья, как Централ-парк постепенно превращается в гравюру на меди: белая окантовка легла на черные ветви деревьев, а холмики и впадинки, аллеи и тропинки исчезли, скрытые белой пеленой.

Спустя какое-то время я согрел кофе, потом – ужинать было еще рано, но я проголодался – сделал себе сэндвич, взял яблоко и вернулся в кресло. Наступали сумерки, снежное покрывало приняло синеватый оттенок. Я сидел и смотрел, как уходит день. Через некоторое время я заметил, что светофоры на улице погасли – то ли выключенные экономии ради, то ли выведенные из строя метелью. Теперь они и выглядели по-иному: высокие шапки снега сверху и на козырьках делали их похожими на обыкновенные фонари. Стало холоднее – я ощутил это даже через окно, – стемнело. Снаружи ничто не двигалось, только снег, ветер и снег, тишина была полная. Глядя вниз, на Централ-парк, я вдруг подумал: а шел ли снег в январе 1882 года?

Я шагнул к газовым рожкам, чиркнул спичкой и, подняв руки, один за другим зажег все светильники. Кофе в фарфоровом кофейнике, поставленном на полу у кресла, еще не остыл, и я опять нацедил себе полчашки, но так и не выпил ни глотка. Я снова сел у окна; в комнате воцарились тепло, уют и тишина, если не считать легкого шипения газа да изредка шелеста снежинок по стеклу. Я откинулся в кресле, вытянул ноги и, придерживая чашку на коленях, уставился на голубые язычки пламени – за резным узором стеклянных колпаков они походили на крошечные средневековые алебарды.

Я даже не думал – это называлось как-то иначе. Я сидел в полнейшем покое, и в голове у меня не осталось ни единой мысли, за исключением произвольно возникшей картины деловых кварталов: там, ближе к центру города, на улицах, надо думать, еще были люди. Я увидел их будто воочию: согнувшихся наперекор метели мужчин, придерживающих котелки за поля, и женщин, глубоко засунувших руки в теплые муфты, а рядом по скользкой мостовой шаркали разъезжающимися копытами лошади. На какую-то долю секунды передо мной мелькнуло приподнятое копыто, мокрое от слякоти, с комьями серого снега на щетках. Теперь я уже не просто представлял себе – нет, не то слово, – я чувствовал вокруг себя город и его обитателей, и тех, кто, как я, сидит сегодня по домам при мягком свете миллионов газовых светильников.

Не хотелось шевелить даже пальцем; снаружи было так бело и так тихо, только снежинки неслись и неслись мимо окна, а комнату наполнял покой, лишь тени по углам изредка вздрагивали в такт колебаниям клиновидных язычков пламени. Я все собирался отхлебнуть кофе, да так и не собрался. В конце концов я поставил чашку на пол, принудил себя подняться, подойти к окну и спустить штору. Может, кто-то там на улице и заметил, что погасло еще одно окно, может, нет – меня это уже не занимало.

Когда звонок над дверью подпрыгнул на своей спиральной пружине, я почти спал в кресле. Я открыл дверь и ничуть не удивился, заведя Оскара Россофа: он притоптывал, обивая снег, налипший на густо смазанные жиром ботинки. У него была блестящая черная, подстриженная клинышком борода.

– Привет, Сай, – сказал он, щелчками сбивая воду с котелка, который держал в руке. – Проходил мимо – дай, думаю, зайду передохнуть. Не помешаю? Вечер сказочный, но идти тяжело.

– Входите, Оскар, входите! Рад вас видеть...

Он вошел и, дружески улыбаясь, принялся расстегивать свое длинное, по щиколотку, зимнее пальто. Затем отдал пальто мне и быстро потер руки, радуясь теплу. На нем был черный сюртук с шелковыми лацканами, брюки в черно-белую клетку, разлетающийся крыльями воротник и широкий черный галстук. Мы прошли через комнату к стульям, стоящим один против другого, и Оскар сел, расстегивая сюртук. Поперек его жилетки тянулась массивная золотая цепь, вся увешанная золотыми и слоновой кости брелоками.

– Я разожгу огонь, Оскар. Или сперва выпьем? А может, кофе? Вы ужинали?.. – Я соскучился по обществу и болтал почти без умолку.

– Да нет, Сай, я ненадолго. Заглянул на минутку. Так что, пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь. Кроме виски: рюмку виски я бы выпил. Неразбавленного. – Он опять потер руки, поглядывая на окна. – Ну и погода!..

Я принес виски в маленьких граненых бокальчиках, мы подняли их, приветствуя друг друга, и пригубили напиток.

– Хорошо! – воскликнул Оскар, откинувшись на спинку стула и рассеянно поигрывая золотым брелоком в форме монетки, висящим среди прочих на часовой цепочке. – Хорошо сидеть вот так, с бокалом виски, и слушать, как за окнами замирает метель...

Я кивнул.

– Очень рад, что вы пришли, Оскар. Я совсем уже засыпал.

– В такой вечер немудрено и задремать. – Он отпил виски и вновь откинулся, лениво перекатывая в пальцах брелок; золото тускло поблескивало в отсветах газа. – Это так успокаивает – на улице все стихло, а здесь уютно и тепло...

Я опять кивнул и начал что-то говорить в ответ, но Оскар медленно покачал головой и улыбнулся, совсем уже полулежа.

– Не старайтесь поддерживать светскую беседу, Сай. Не надо меня развлекать. Тут так уютно, что хочется насладиться покоем, ни о чем не думать... Ветер, кажется, кончился, стало тихо-тихо. А снег идет, кружится, падает большими мягкими хлопьями. Вы сейчас всем довольны, Сай, я вижу, что довольны. Чувствуете себя легко, спокойно. Умиротворенно. И, мне кажется, я помогаю вам. Потому что хоть вы и слушаете меня, но слышите скорее не слова, а звуки, интонации, журчание речи, намеки на смысл. Всякая напряженность уходит из вас, уходит вся, без остатка; я вижу, вы и сами понимаете это. Вы так умиротворены, что даже держать в руке бокал становится тяжеловато, замечаете? Бокал стал слишком тяжел, поставьте его рядышком на пол. Так-то лучше, не правда ли? Если вы теперь попытаетесь взять его снова, попытка окажется вам не по силам. Да вы и не хотите его поднимать, вам он просто ни к чему. Но все равно попытайтесь, Сай, попробуйте хотя бы приподнять его на секунду. Не можете? Ну, ничего. Не имеет значения. Вы очень устали, и через минуту я дам вам уснуть. Вот только скажу кое-что и уйду...

Вы поспите совсем немного, Сай, но это будет замечательно глубокий, освежающий сон. Глубокий и без сновидений. Вы почувствуете себя отдохнувшим как никогда. А когда проснетесь, все, что вы знаете о XX веке, улетучится из вашей памяти. Во сне именно эта часть ваших знаний сожмется до размеров булавочной головки, неподвижно спрятанной в глубинах сознания.

Вот уже, вот оно и начинается, Сай. На свете нет таких чудес, как автомобили; нет ни самолетов, ни компьютеров, ни телевидения, ни самого мира, в котором они возможны. Ни в одном словаре нет и не может быть таких понятий, как «ядерный взрыв» или «электроника».

Вы никогда не слышали имени Ричарда Никсона... Эйзенхауэра... Аденауэра... Франко... генерала Паттона ⁶... Геринга... Рузвельта... Вудро Вильсона... адмирала Дьюи ⁷.

⁶ Паттон, Джордж Смит (1885–1945) – американский генерал времен Второй мировой войны. Командовал корпусом в Северной Африке, затем армией в Сицилии и Нормандии.

Все, что вам известно о последних восьмидесяти восьми годах, стерлось из вашего сознания. Стерлось начисто. Все без исключения. Большое и малое. От важнейших событий до ничтожнейших бытовых подробностей.

Но вы знаете, каков окружающий мир, вы прекрасно это знаете. Почему бы вам не знать, каков мир сегодня, 21 января 1882 года? Ведь это сегодняшнее число и это год, в котором мы с вами, как известно, живем. Потому-то я одет именно так и вы тоже. Потому и комната такая, какова она есть. Не засыпайте еще минутку, Сай. Повремените еще немножко, не закрывайте глаза. Совсем немножко, буквально несколько секунд.

А теперь слушайте, что я скажу. Сейчас я дам вам последнюю инструкцию; вы запомните ее и повинуетесь ей. Вы проспите двадцать минут. Вы проснетесь отдохнувшим. Вы пойдете погулять. Просто небольшая прогулка, чтобы подышать свежим воздухом перед сном. Вы постараетесь, чтобы вас никто не видел. И уж во всяком случае, ни с кем ни при каких обстоятельствах не заговорите. Вы не совершите никаких действий, какими бы незначительными они ни были, способных хоть каким-либо, даже самым нечаянным образом на кого-нибудь повлиять.

Потом, когда вернетесь сюда, вы ляжете спать и проспите всю ночь. Утром вы проснетесь, как обычно, совершенно свободным от всякого гипнотического внушения. И едва вы откроете глаза, в вашей памяти снова вспыхнут все ваши знания о XX веке. Но прогулку свою вы запомните. Прогулку свою вы запомните. Прогулку свою вы запомните. А теперь... Теперь спите...

Я был смущен: проснувшись, я сразу же посмотрел на стул, где сидел Оскар, и увидел, что его нет, а бокал стоит на столе, и спросил себя: что же он обо мне подумал, если я позволил себе заснуть в присутствии гостя? Впрочем, он не обидится – мы ведь старые друзья, – посмеется, и все.

Я чувствовал себя отдохнувшим, бодрым, полным сил – пожалуй, слишком бодрым, чтобы ложиться спать, – и решил прогуляться. Снег все еще падал, падал большими, мягкими хлопьями. Ветра больше не было, а я и так слишком долго сидел в четырех стенах, и мне захотелось выйти на улицу, на снег, вдохнуть всей грудью холодный свежий воздух. Я подошел к шкафу, достал и надел пальто, кашне, ботинки и круглую черную барашковую шапку.

Я спустился по лестнице, довольный, что никто не попался мне на пути: говорить ни с кем не хотелось, и если бы я услышал чьи-то шаги, то, наверно, переждал бы, пока человек не пройдет. Спустившись, я вышел из подъезда, быстро огляделся по сторонам, но кругом не было ни души – видеть мне сегодня совершенно никого не хотелось, – и направился прямо через улицу к Централ-парку. Ночь выдалась отличная, просто замечательная. Воздух обжигал холодом, за ресницы цеплялись снежинки, затуманивая на мгновение свет фонарей, и без того полускрытых за крутящейся снежной завесой.

Мостовую занесло снегом почти уже вровень с тротуаром, и на этом снегу не виднелось ни следов, ни колеи. Я пересек улицу и углубился в парк. Аллеи я не разглядел и не понял даже, где она; просто-напросто пошел вперед, избегая кустов и деревьев. Идти было тяжело: снегу намело сантиметров двадцать, если не больше. Я еще подумал, что не стоит слишком удаляться от освещенной улицы, а то немудрено и заблудиться. Оглянулся – уличные фонари различались отчетливо, и в их свете на снегу темнели мои следы; следы заметало прямо на глазах и через минуту-другую, понятно, заметет совсем, и если я забреду слишком далеко, то вернуться по ним никак не смогу.

⁷ Джорджу Дьюи в 1882 году исполнилось уже 45 лет, однако он был тогда малоизвестным морским офицером. Прославился он в ходе американо-испанской войны в 1898 году, когда наголову разбил испанский флот в Манильской бухте и был пожалован от конгресса званием адмирала флота.

Тем не менее я продолжал идти, высоко поднимая ботинки с налипшим на них сырым снегом, радуясь самому этому усилию, чуть-чуть пьяный от искрящейся снежной ночи и своего одиночества в ней. Сзади, откуда-то издали, до меня долетел ритмичный звон колокольчика, он с каждой секундой нарастал, и я опять обернулся к улице. Постоял, прислушался к мерному «динь-дилень» – и вдруг из-за призрачных ветвей вынырнул, скользя посередине освещенной улицы, единственный экипаж, способный передвигаться в такую ночь: легкие узкие сани, запряженные стройной лошадкой. Лошадка бежала сквозь снег упругой, беззвучной рысцей; в открытых санях под одной накидкой, тесно прижавшись друг к другу, сидели мужчина и женщина. Динь-дилень – под снегопадом, через вихри в конусах света, отбрасываемого фонарями... На сидоках были меховые шапки вроде моей, мужчина держал в руках кнут и вожжи. Женщина улыбалась, подняв лицо навстречу снегу, и тишину нарушали лишь колокольчик, приглушенный цокот копыт да шорох полозьев. Потом они проехали, я видел их уже со спины, сани удалялись, уменьшались, и колокольчик звенел все тише. Они почти скрылись с глаз, когда я услышал, как женщина коротко рассмеялась, и смех ее за падающим снегом звучал далеким и радостным.

Я уже надышался, идти дальше в глубь парка охоты не возникало, и я повернул назад. Тонкие параллельные следы полозьев еще выделялись на снегу посередине улицы Сен-трал-парк-уэст, но их быстро заметало, а мои первоначальные следы успели исчезнуть совсем. Я поднялся к себе домой, снял пальто и шапку, погасил газовые рожки в гостиной, готовясь ко сну. Подошел к окнам взглянуть на улицу последний раз – и тут мне захотелось снова ощутить на лице снег, я раскрыл доходящие до пола окна и выбрался на балкон. На улице подо мной уже не осталось ни моих следов, ни следов саней, и снег лежал опять ровный и незапятнанный. Несколько секунд я смотрел на черно-белый парк, потом бросил взгляд на север. Единственное, что я увидел, и то еле-еле, сквозь снежную пелену, было здание Музея естествознания за несколько кварталов от меня – там светился один ряд окон. Я вернулся в комнаты, лег и почти мгновенно уснул.

8

– Рассказывай сызнова, – потребовал Рюб. – Думай, черт побери! – В голосе его проступали разочарование и гнев. – В этих санях не было ничего особенного? Так-таки ничего? И седоки ничегошеньки не сказали?..

– Полегче, Рюб, полегче, – вымолвил Данцигер.

Он, Рюб и Оскар Росссоф, все на сей раз в своей обычной одежде, сидели у меня в гостиной; кто держал чашку кофе в руках, кто поставил ее рядом с собой. Оскар курил сигарету. Я ни разу не видел его курящим, но, когда он прикончил вторую подряд, Данцигер в свою очередь попросил у него сигарету и тоже закурил.

Я сидел перед ними в рубашке и в матерчатых тапочках и, прихлебывая кофе, выжимал из себя мельчайшие подробности вчерашней прогулки, мысленно пересматривал картины, возникающие в памяти, в поисках хоть чего-нибудь нового. Наконец я еще раз покачал головой:

– Это были... это были обыкновенные сани. Мне очень жаль, но седоки не проронили ни слова. Когда они уже проехали, женщина рассмеялась, но если мужчина и сказал что-нибудь, что вызвало ее смех, я этого не расслышал.

– А уличные фонари? – раздраженно спросил Оскар. – Они были газовые или электрические? Это уж можно было заметить!

Раздражение легко передается, и я буркнул:

– Знаете, Оскар, я обратил на них не больше внимания, чем вы, когда выходите на улицу вечером.

– И ты больше никого не видел? – спросил Рюб, прищулив глаза. – Никого и ничего? Не слышал ни звука? Как насчет звуков – ты хоть что-нибудь слышал?

Мне не хотелось их огорчать, я чувствовал себя кругом виноватым, едва ли не преступником, но после некоторого раздумья, после тщетных попыток вспомнить, не упустил ли я какую-нибудь мелкую деталь, пришлось снова качать головой.

– Стояла мертвая тишина, Рюб. Повсюду снег, и никакого движения – только снег...

Губы у него дрогнули, но он тут же крепко сжал их, сдерживая злость. И даже заставил себя улыбнуться мне, чтобы показать, что он все-все понимает. Но какой-то физической разрядки было не избежать, и он встал, втиснул руки в задние карманы своих армейских брюк и принялся мерить комнату шагами.

– Проклятие! Сто проклятий, тысяча проклятий! Это мог быть восемьдесят второй год, вполне мог быть! И мог быть сегодняшний день. Кто-то вытащил откуда-то сани своего любимого дедушки, а светофоры из-за метели не работали. – Рюб отвернулся к Росссофу, беспомощно развел руками и горько рассмеялся. – Это же черт знает что! Может, ему удалось, может, он таки побывал там! А убедиться нет никакой возможности. Ну и ну!..

Он подошел к своему креслу, рухнул в него и потянулся за чашкой кофе, стоявшей на ковре.

Медленно, приглушенно, стремясь рассеять висящее в комнате раздражение, заговорил Данцигер:

– После прогулки вы вернулись сюда, Сай? И никого не встретили?

– Никого, – подтвердил я.

– Вы вошли сюда, в гостиную, подошли к окну и выглянули в парк?

– Именно, – кивнул я, глядя ему в глаза, искренно надеясь, что он сможет вытянуть из меня что-нибудь такое, о чем я и сам не догадывался.

– И что вы там увидели – ничего особенного?

– Ничего. – Я откинулся в кресле, совсем подавленный. – Мне очень жаль, доктор Данцигер, ужасно жаль, но для меня прошлая ночь действительно была восемьдесят вторым годом.

Во всяком случае, была им в моем сознании. Так что не приходится удивляться – просто я не обращал внимания...

– Понимаю. – Он кивнул несколько раз подряд, улыбнулся, затем, пожав плечами, повернулся к остальным. – Ну что ж, придется ждать следующей возможности и снова попытаться счастья, только и всего...

Мы промолчали. Данцигер взглянул на сигарету, тлеющую в руке, скорчил недовольную мину и загасил ее в пепельнице; значит, опять бросал курить. Молчание длилось минуты две, затем Россоф сказал:

– Сай, подойдите к окну, хорошо? И выйдите на балкон точно так же, как вчера...

Я двинулся к застекленной двери, открыл ее, вышел на балкон и обернулся, вопросительно глядя на Россофа; процедура эта мне уже порядком надоела, однако я чувствовал себя обязанным выполнить все, чего от меня хотят.

– Закройте глаза, – сказал Россоф. Я подчинился. – Ну вот, сейчас вчерашняя ночь. Вы стоите на балконе и смотрите вниз, на парк. Не открывая глаз, мысленно представьте себе всю картину. Как только она станет отчетливой, опишите ее во всех подробностях.

Через секунду-две, не раскрывая глаз, я начал:

– Чистый, белый, совсем нетронутый, девственный снег – очень красиво... Деревья будто углем вычерчены на белом фоне. Снег сплошь покрывает улицу и тротуар, совершенно нетронутый снег – я замечаю, что даже мои следы уже исчезли, а он все идет и идет... Снежинки блестят в пятнах света у подножия фонарей, а больше ничто не движется, не слышно ни звука. Я стою, несколько секунд гляжу вниз, на парк, потом поворачиваюсь, чтобы вернуться в комнату. Замечаю еще несколько светящихся окон в Музее естествознания – наверно, уборщицы за работой. Я задергиваю шторы и... Вот, к сожалению, и все. – Я обвел взглядом всех троих и шагнул в комнату. – Потом я лег и проспал до...

Я не кончил. Доктор Данцигер медленно вставал, выпрямляясь во весь свой огромный рост. Лицо его оживилось. Он стремительно подошел ко мне, вытянул руку и жестко, до боли сдавил мне плечо. Повернул меня лицом к балкону, вытолкнул обратно за дверь и сам последовал за мной.

– Смотрите! – Большая, с выпуклыми венами рука мелькнула у меня перед глазами, схватила меня за подбородок и силком направила мой взгляд к северу. – Вот куда вы смотрели вчера ночью! Посмотрите опять! Где он? Где ваш Музей естествознания?..

Конечно, никакого музея там не было – между мной и им стеной стояли кварталы домов, и каждый намного выше «Дакоты». С моего балкона музей не был виден уже много десятилетий, и сознание этого факта вдруг поразило и меня, и Рюба, и Оскара, и Рюб прошептал:

– Вышло-таки! – Потом лицо у него покраснело, и он заорал: – Вышло! Боже мой, вышло!..

Рюб и Оскар схватили меня за руку и принялись трясти ее, поздравляя меня и друг друга, а я стоял, глупо улыбаясь, покачивая головой и стараясь осознать, что вчера ночью я на несколько минут прогулялся отсюда, из «Дакоты», в зиму 1882 года. Доктор Данцигер полузакрыв глаза, чуть покачнувшись и, кажется, находился на грани обморока. Потом все мы стали бормотать что попало, ухмыляться, отпускать дурацкие шутки, а я, хоть и принимал в этой сумятице посильное участие, ухмылялся и ликовал со всеми, мысленно вновь стоял на балконе в тишине белой ночи и глядел вдаль сквозь кварталы пустого пространства – пространства, которое вот уже десятки лет заполнено каменными громадами зданий.

Двадцать минут спустя мы уже были «на складе», и меня препроводили в комнату, которую я смутно помнил с тех времен, когда под руководством Рюба бродил по зданию экскурсантом. Теперь я сидел во вращающемся кресле, а к шее моей прилепили пластырем ларингофон. На консоли рядом со мной крутилась магнитофонная лента, а за почти бесшумной электрической пишущей машинкой сидела девушка с наушниками на голове; печатала она с моего

голоса, записанного на пленку, чуть-чуть отставая от живой речи. Там и тут, прислонившись к стенам, стояли и слушали, выжидая чего-то, Данцигер, Рюб, Россоф, принстонский профессор-историк, полковник Эстергази и десяток других, с кем я встречался и раньше.

– Фредерик Боуг, – говорил я, – Фредерик Н. Боуг из Буффало, штат Нью-Йорк. Последний раз я видел его три с половиной года назад в художественной школе. – Я поразмыслил секунду, потом продолжал: – На экранах шел фильм под названием «Выпускник». Играла Энн Бенкрофт. И еще актер по имени Дастин Хоффман. Режиссер Майк Николс. – Опять помедлил, прислушиваясь к тихому постукиванию электрической машинки. – Продается шоколад «Герши» в плитках. Коричневая бумажная обертка, надпись серебром. – Еще пауза. – Клиффорд Дабни из Нью-Йорка, лет двадцати пяти, работает составителем рекламных текстов. Элмор Боб – декан в женском колледже Монклер. Руперт Ганзман – депутат законодательного собрания штата. В Вайоминге живет чистокровный индеец племени сиу по имени Джералд Монтисамберт. В октябре прошлого года на Пятьдесят первой улице, неподалеку от Лексингтон-авеню, был пожар. А Пенсильванский вокзал недавно снесли...

В комнату тихо, почти неслышно вошел молодой человек – его я когда-то тоже встречал. Он осторожно сорвал с каретки верхнюю, уже заполненную половинку листа и унес ее; девушка продолжала печатать на нижней половинке. А я продолжал наговаривать на магнитофон имена своих знакомых и имена людей, о которых когда-нибудь что-нибудь слышал, вперемешку знаменитостей и личностей, никому не известных; факты и фактики, крупные и мелкие, всякие, лишь бы они относились к миру, каким я помнил его до вчерашнего вечера.

– Куин Элизабет – королева английская, а «Куин Мэри» – пароход, его продали какому-то городу в Южной Калифорнии... В парикмахерской на Сорок второй улице, близ отеля «Коммодор», работает мастер по имени Эмманюэл...

Дверь отворилась, и вошел, улыбаясь, лысоватый мужчина лет сорока; его я тоже встречал несколько раз в кафетерии.

– Пока все в порядке, – сообщил он. – Во всяком случае, все, что мы сумели проверить.

По комнате прокатился возбужденный шепоток. Мужчина ушел, а я продолжал:

– Выходит комикс под заглавием «Орешки», и в последнем выпуске девочка Люси сказала собачке Снупи...

В одиннадцать часов Данцигер остановил меня, заявив, что довольно. А к полудню мы уже знали, что все наудачу названные мною факты – факты из мира, каким я помнил его до вчерашнего вечера, – остались фактами и сегодня. Несколько шагов, проделанных мною по снегу в мир 1882 года и обратно, не изменили ничего в том мире и – как следствие – в нашем. Не было, например, ни одного человека, которого или о котором я знал бы вчера и который не существовал бы и сегодня. Никто, никак и ни в чем не изменился. Ни один факт, большой или крошечный, ничем не отличался от моего воспоминания о нем. Все осталось точно таким же, как было раньше, никаких заметных изменений не произошло, а это значило, что, соблюдая необходимую осторожность, эксперимент можно продолжать.

Но первым делом я навестил Кейт. После обеда я отправился к ней пешком через город; она закрыла свой магазинчик, мы поднялись с ней наверх, и на протяжении сорока минут я трижды пересказал ей свое вчерашнее приключение.

– А как оно все-таки было? Что ты чувствовал? – допытывалась Кейт снова и снова.

Я пытался, как мог, ответить ей, подыскать нужные слова, а она сидела, наклонившись ко мне, прищурившись, приоткрыв рот, стараясь уловить все оттенки смысла, заложенные или подразумеваемые в каждом слове. Временами она удивленно, а то и восторженно качала головой, но в общем была, разумеется, разочарована: передать ей свои ощущения я так и не сумел, и когда пришла пора уходить, я понимал, что Кейт по-прежнему хочет знать: «А как оно все-таки было? Что ты чувствовал?»

Вернувшись «на склад», я переоделся в кабинете Россофа, а он воспользовался случаем, чтобы задать мне свои вопросы, в основном такого типа: в состоянии ли я эмоционально пережить и разумом принять реальность того, что со мной произошло? И, проявляя усердие, я продумывал ответ, пока натягивал на себя одежду. Мысленно я снова видел сани, удаляющиеся в круговороте снежинок, слышал затихающий звон колокольчика. И ясный музыкальный смех женщины в чудесную зимнюю ночь. По спине у меня от восторга пробежали мурашки. Я кивнул Россофу и ответил: «Да».

После этого он отвез меня к «Дакоте». Теперь мы спешили. Я ведь прожил в своей квартире довольно долго, прежде чем смог наконец достичь вчерашнего успеха; теперь в моем распоряжении оставались только сегодняшний вечер, завтрашнее утро и часть дня, чтобы добиться того же, – если я в самом деле хотел присутствовать при отправке длинного голубого конверта со штемпелем: «Нью-Йорк, штат Н.-Й., Гл. почтамт, 23 янв. 1882, 6.00 веч.». Кроме того, теперь, в развитие эксперимента, переход в прошлое мне следовало осуществить самому, без помощи доктора Россофа.

К четырем часам я уже поднимался по лестнице. В коридоре у двери лежал пакет с рынка. Я поднял его, а когда, отомкнув дверь, вошел в гостиную, то это было поразительно похоже на чувство, с каким приходят к себе домой. В шесть я торчал на кухне у плиты с длинной вилкой в руке, ожидая, пока закипит картошка, и просматривая «Ивнинг сан» за 22 января 1882 года; все обстояло так, словно я и не нарушал установившегося образа жизни. Перед тем как подняться к себе, я заметил, что вчерашний снег с улицы счистили, светофоры заработали снова и по мостовой несутся потоки машин. Однако такие мелочи уже не имели для меня никакого значения. Потому что я знал – знал! – что там, за окнами, есть и параллельный январь 1882 года. И еще я знал – именно знал, – что, когда настанет момент, я смогу опять выйти в этот январь.

Я ткнул вилкой в картошку – еще жестковата – и, не покидая своего поста у плиты, вновь взялся за сложенную вдоль столбцов газету. Суд над Гито, убийцей президента Гарфилда, продолжается; следствие по скандальному делу «Стар Рут» все затягивается; на одинокой ферме в штате Вайоминг индейцы скальпировали целую семью... У входной двери зазвенел звонок.

Держа газету в руке, я прошаркал в тапочках по длинному широкому коридору, открыл дверь и... У порога стояла Кейт. На ней было длинное пальто, голова была повязана шарфиком, а на лице застыла нервная улыбка – она ждала, что я скажу. Я ничего не сказал – я замер, уставившись на нее; тогда она проскользнула мимо меня в гостиную. Я повернулся, машинально затворив дверь, со словами:

– Кейт! Какого черта?..

Но она уже пересекала комнату, стаскивая пальто. Кинула его на кресло и обернулась ко мне – в шелковом платье бутылочно-зеленого цвета, отороченном белым кружевом, застегнутом на пуговицы у шеи и на запястьях; подол, качнувшийся от резкого движения, приоткрыл высокие, наглухо застегнутые ботинки. Одним рывком, словно опасаясь, что я ее остановлю, она дернула темную косынку. Волосы у нее были расчесаны на прямой пробор, туго стянуты назад и собраны в узел на шее.

Я невольно улыбнулся – так хорошо она выглядела: густые медные волосы, светлая, чуть веснушчатая кожа, большие карие, дерзкие глаза в сочетании с переливчатой бутылочной зеленью платья – она знала, что делает, когда выбрала именно этот цвет. Приметив мою улыбку, она быстро сказала:

– Я иду с тобой, Сай. Посмотреть, как будет отправлено письмо. Оно мое, и я тоже хочу посмотреть!..

Я с уважением отношусь к женщинам, никогда не смотрю на них свысока и презираю мужчин, способных на такое. На мой взгляд, женщины не менее принципиальны, чем мужчины, только принципы у них, по правде сказать, совсем иные. Я сознавал, что могу поло-

житься на Кейт буквально во всем, могу довериться ей абсолютно, поскольку ее оценки добра и зла очень близки к моим. Но теперь мы спорили без конца: Кейт у плиты – подготовку к обеду она сразу же взяла на себя, – я у кухонного стола; спор продолжался и когда мы сели за стол, разделив между собой две мои отбивные. Я начинал чувствовать себя ханжой, напыщенно отстаивающим древние моральные устои. Потому что Кейт было попросту наплевать на секретный характер проекта, на то, что ему придается важное значение, что в него вложены огромные силы и средства, что в его осуществлении участвуют высокопоставленные лица. Без особых усилий Кейт добралась, как по линейке, до правды – женской правды, – спрятанной под научными претензиями. Она понимала, что все это, в сущности, не более чем огромная, дорогая, занятая игрушка – все мы просто забавляемся этой игрушкой, и, как девчонка-сорванец на детской площадке, она протискивалась сквозь круг мальчишек, чтобы позабавиться вместе с нами. И, черт возьми, протискивалась она лихо.

Я перешел к аргументам практического характера – и совершил роковую ошибку. Тем самым я предоставил ей возможность тут же возразить, потрясая вилкой и забыв о еде, что она тоже подготовлена, что она узнала о восьмидесятих годах ровно столько же, сколько и я. Более того, она подготовлена лучше, чем я прошлой ночью, потому что теперь она, как и я, уверена, что задуманное осуществимо.

За бесконечными моими словесными выкрутасами пряталось, в сущности, убеждение, что она права. Я был убежден, убежден до мозга костей, что завтрашний день увенчается успехом, и это был не голый оптимизм, а твердое знание. И я знал также – если сумею выразить свою мысль, – что сила моей убежденности в состоянии увлечь Кейт за мной. Я знал достоверно, что мы можем добиться успеха вдвоем, и после обеда, когда посуда была перемыта, спор наш постепенно сошел на нет.

Не то чтобы я прямо сказал ей, что согласен. Но она ходила взад и вперед, выкладывая свои аргументы, и длинное платье раскачивалось и резко шуршало. Я сидел и любовался ею, с трудом сдерживая улыбку, – выглядела она сейчас прекрасно, и всякий раз, как она проходила под газовым рожком, волосы у нее вспыхивали каким-то особым блеском. Она выглядела просто роскошно, и в конце концов я встал, подошел к ней, обнял ее и поцеловал. Спор закончился, она победила.

Большую часть следующего дня – как только разделались с завтраком, посудой и утренней газетой – мы провели, читая вслух. Но прежде я разжег камин в гостиной. Потом подобрал с пола под окном книжку, которую листал, когда выглянул в парк и обнаружил, что началась метель, – всего лишь позавчера, заметил я себе не без удивления. Книжка была с одной из полок этой самой гостиной: новый, свеженький экземпляр романа «Обвиненная в убийстве», написанного м-с Эммой Д. Е. Н. Саутуорт и опубликованного немногим более года назад, в 1880 году. Издание было дешевенькое, в мягкой обложке, однако на ней не красовалось никаких полуголых девиц – просто черный шрифт на красной бумаге.

«Когда Сибил пришла в себя после обморока, подобного смерти, – читал я, – она поняла, что ее несут по узкому, извилистому, по-видимому подземному проходу; кромешная тьма, которую нарушал лишь розовый отблеск свечи, движущейся впереди, как звезда, не давала ей разглядеть какие-либо подробности. Ею овладело предчувствие неминуемой гибели, и всепоглощающий ужас заполнил душу, сковав все ее мысли».

Я поднял голову и улыбнулся Кейт – она сидела, поджав ноги, на кушетке. Улыбнулся я напыщенности этой прозы; думаю, что и достаточно искушенные читатели восьмидесятих годов смеялись над подобными пассажами. И все же я погасил свою улыбку, и Кейт восприняла мой намек. К тому времени я перечел уже немало литературы такого рода; поначалу стиль ее казался мне забавным, но теперь приелся, и я научился читать такие книжки по диагонали,

ради сюжета, который был не лучше, но и не хуже, чем во многих нынешних детективных романах.

Читали мы по очереди, с перерывами на кофе и обед, и к середине дня довели книжку до конца. Кончалась она, как и большинство ей подобных, информацией о том, что случилось с главными героями после событий, описанных в романе. Последняя страница выпала на долю Кейт.

«Добавить остается немного, – прочитала она. – Рафаэль Риордан и его мачеха г-жа Блондель явились опознать труп и присмотреть за его отправкой. Джентилиска, ставшая теперь импозантной матроной, смотрела на мертвое тело со странно смешанным выражением жалости, отвращения, грусти и облегчения».

– Постой-ка, – прервал я Кейт и, когда она подняла на меня взгляд, раскрыл глаза как можно шире, слегка нахмурился и приподнял уголок рта. – Похоже это на жалость?

– Более или менее.

Я нахмурился еще сильнее и, удерживая один глаз широко раскрытым от жалости, прищурил другой.

– Теперь я добавил толику отвращения. А сейчас, смотри – это будет грусть. – Я отвесил челюсть. – И наконец, обрати внимание, номер без сетки, музыка – туш: облегчение!.. – Я задрал подбородок, раскрыл рот до предела, стараясь изо всех сил удержать на лице четыре выражения одновременно. – Ну как, на кого я похож?

– На удушенника.

– Этого я и боялся. Но держу пари, Джентилиска справилась с задачей без труда. Наверно, она сумела бы добавить сюда еще и ужас, и досаду, и восторг, не напрягая притом ни одного мускула на лице. Но знаешь, что мне нравится? Мне, кажется, нравятся люди, которым нравятся такие книги.

Кейт понимающе кивнула, и мы замолчали. В каминной трубе тихо рокотала тяга, потом на решетку свалился кусок угля.

– Они там сейчас, – сказал я, показав через комнату на окна; все, что мы видели, было серебристое зимнее небо.

Я говорил искренне. Весь день я ощущал живое присутствие вокруг нас нью-йоркской зимы 1882 года – ощущал сильнее, реальнее, чем когда-либо за все прошедшие дни и недели. Потому что теперь это стало для меня непреложной истиной: то время не умерло, оно существует.

– Они ждут нас, Кейт, – промолвил я, и единое настроение, единое чувство уверенности связало нас. И Кейт кивнула, захваченная этой абсолютной уверенностью.

– Пожалуй, пора, – сказал я.

Мгновенный испуг мелькнул на ее лице, мелькнул и исчез; она еще раз кивнула и прикрыла глаза.

Я и сам закрыл глаза, взял Кейт за руку и так сидел – в тепле и уюте, расслабив все мышцы, чувствуя, как рассасывается, уходит прочь последнее напряжение. И наконец, зная, что и Кейт не отстанет, я заговорил про себя:

«Через несколько минут и на несколько минут сознание твое отключится полностью – ты задремлешь, почти уснешь. Сегодня 23 января. Будет, конечно, то же самое число, когда ты вновь откроешь глаза: 23 января 1882 года. У вас с Кейт есть дело. Ты выйдешь с ней в парк, и в твоём сознании не останется ничего от другого времени. Единственной твоей мыслью будет, что вам нужно на почту. Нужно поспеть туда не позже половины шестого. Нужно посмотреть, кто отправит голубой конверт. Не вмешивайся в события. Наблюдай за ними, проходи через них, но не стань причиной какого-либо события и не помешай свершению какого-либо события. Разумеется, есть разница, есть новизна, но все будет в порядке, все будет в порядке. В какой-то момент, скорее всего на пути через парк, когда ты удостоверись, что перед тобой

зимний день 1882 года... в этот момент ты вспомнишь и настоящее. Вспомнишь настоящее и, таким образом, впервые станешь действительным наблюдателем».

Я подскочил в кресле, глаза у меня раскрылись; мне казалось, будто я и в самом деле задремал. Кейт смотрела на меня, а я держал ее за руку.

– Я тоже вздремнула, – сказала она. – Надо сходить на почту. Ты пойдешь?

– Пойду, – кивнул я и встал, потягиваясь. – Сделай милость, вытащи меня отсюда и встряхни хорошенько. Давай собираться...

В коридоре, еще позевывая, я достал из шкафа пальто с капюшоном, боты и круглую черную меховую шапку. Кейт надела пальто и повязала шарф. В каком году и в каком веке все это происходит, занимало меня не больше, чем любого, кто собрался на улицу. И внизу, выйдя из парадного на Семьдесят вторую улицу, ссутулившись и спрятав от холода подбородок в воротник пальто, я и не подумал оглядеться по сторонам, а переходя улицу, граничащую с парком, не посмотрел ни вправо, ни влево. Зачем? Мне такое и в голову не пришло.

Было морозно, и нам никто не встретился. Мы выбрались с территории парка на юго-восточном его углу, где Пятая авеню пересекается с Пятьдесят девятой улицей, и я расстегнул пальто, намереваясь достать из кармана мелочь на проезд. Тут Кейт издала легкий стон, и я быстро взглянул на нее. Она прижала руку ко лбу и плотно зажмурила глаза, лицо ее побелело. Я бросился поддержать ее – но тут же покачнулся сам и вынужден был выставить ногу, чтобы удержать равновесие...

Чего-чего, а физической реакции мы не ожидали. Я обнял Кейт за плечи – она дрожала. Чтобы хоть как-то поддержать и ее, и себя, я оперся спиной о дерево у бровки тротуара, ощущая, как на лбу и над верхней губой выступает пот, сознавая, что и сам бледен как полотно. Уставясь на носки собственных ботинок, я глубоко вдыхал острый холодный воздух, пока не почувствовал, что пот на лице высыхает, и не понял, что справился с собой. Тогда я снова взглянул на Кейт – она уже открыла глаза и кончиком языка облизывала пересохшие губы.

– Спасибо, уже прошло, – сказала она, распрямляя плечи. – Но боже мой, Сай!.. – добавила она шепотом.

Мы повернулись не сразу, не сразу смогли решиться на это. Но мы слышали, как скрипят по холодному сухому снегу железные ободья колес, как тарахтит разболтанный кузов, как резко хлопают по лошадиным бокам кожаные вожжи. Медленно, очень медленно повернули мы головы в ту сторону – и увидели, снова увидели маленький деревянный омнибус с полукруглой крышей и высокими колесами на деревянных спицах; его тянула упряжка тощих лошадей, и из ноздрей у них при каждом шаге вырывались клубы белого пара. Омнибус приближался, заполняя все поле зрения, я смотрел на него – и теперь уже помнил, откуда я прибыл сюда и как. Но потребовалось еще несколько секунд самой настоящей борьбы с собой, прежде чем разум окончательно принял тот факт, что мы стоим на углу Пятой авеню серым январским днем 1882 года.

9

Кейт усмехнулась. Я бросил взгляд на юг, вдоль хорошо знакомой мне Пятой авеню, и испытал новый приступ слабости.

Все, наверно, видели, если не в натуре, то, на худой конец, на экране эту блистательную, великолепную улицу, широченную, обрамленную по обеим сторонам рядами башен из металла, стекла и устремленного ввысь камня: сверкающий фасад Корнинг-глас-билдинг – гектары стеклянных стен, исполинский алюминиевый Тишмен-билдинг, каменный массив Рокфеллер-центра, старенький собор Св. Патрика, приткнувшийся со своими двумя шпилями среди возносящихся окрест громад. И сияющие витрины магазинов, и большая грязно-белая библиотека на углу Сорок второй улицы, с каменными львами по бокам широкой главной лестницы. А еще дальше, у Тридцать четвертой улицы, поднимается во всю свою невероятную высоту Эмпайр-стейт-билдинг – если только по какому-то чуду воздух достаточно прозрачен, чтобы разглядеть его отсюда. Именно эта картина – асфальт, и камень, и башни из стекла и металла, громоздящиеся до небес, – стояла перед мысленным моим взором, когда я бросил взгляд вдоль Пятой авеню.

Ничего. Ничего подобного не было. Маленькая улочка. Узкая. Вымощенная булыжником. Обсаженная деревцами улочка жилого района. Раскрыв рты стояли мы и смотрели на ровные ряды домиков из бурого песчаника, из кирпича и камня; перед ними росли деревья, а кое-где за оградками лежали даже заснеженные газончики. И самыми высокими точками по всей длине этой тихой улицы были тонкие шпили церквей, а выше не было ничего, кроме серого зимнего неба. Навстречу нам, громахая по булыжнику там, где не сохранилось снега, ехал еще один запряженный лошадьми омнибус, единственный движущийся экипаж в пределах нескольких кварталов.

Кейт, уцепившись за мою руку, шепнула:

– Гостиницы «Плаза» нет!

Я посмотрел туда, куда она показывала, на другую сторону Пятьдесят девятой улицы: там, где мы привыкли видеть гостиницу, простирался пустырь, словно ее стерли с лица земли. Нам еще предстояло побороть привычный строй мыслей: ее не стерли – ее просто не построили. Но небольшая одноименная площадь через улицу от парка оказалась на месте, и посреди площади красовался выключенный на зиму фонтан. Я подтолкнул Кейт локтем:

– Гляди, извозчики!..

Вдоль тротуара Пятьдесят девятой улицы выстроились пять или шесть пролетов в ожидании пассажиров.

Что-то лязгнуло, и мы испуганно оглянулись: маленький омнибус остановился совсем неподалеку от нас. На крыше у него болтался закопченный фонарь, и, подойдя поближе, я уловил резкий запах керосина. Входная дверь была сзади, над выступающей ступенькой, и, открывая ее перед Кейт, я бросил взгляд на ездогого, но тот недвижимо сидел на своем высоком облучке, закутанный в одеяло и прикрытый сверху громадным зонтом. Я взобрался следом за Кейт, вожжи шлепнули по крупам лошадей, омнибус дернулся, и мы поехали. Я сделал по памяти набросок (рис. 2): что мы видели, когда зимним днем 23 января 1882 года покатали по Пятой авеню в сторону центра.

Внутри омнибуса по всей небольшой его длине шли две скамейки, и Кейт присела сзади у самой двери, а я прошел вперед к жестяной коробке с надписью: «Проезд 5 ц.». Разыскав две пятицентовые монеты, я бросил их в коробку – и обратил внимание на дырку в крыше, через которую ездогой мог убедиться в том, что я действительно заплатил за проезд.



Рис. 2

Потом мы сидели рядом – других пассажиров пока не было, – непрерывно вертя головами и пытаясь разглядеть обе стороны этой незнакомой улицы сразу.

– Нет, это не Пятая авеню, это не может быть Пятая авеню, – сказал я полушутя-полусерьезно, а Кейт в ответ лишь ткнула пальцем в окошко: мимо нас промелькнул уличный фонарь – четыре горизонтальные полосы крашеного стекла, образующие нечто вроде мелкого ящика, и на ящике четко значилось: «5-я авеню».

Раздался негромкий удар гонга, и я заметил его источник: впереди нас на Пятую авеню выкатилась легкая крытая повозка, окрашенная в темно-зеленый цвет. Почти сразу же она повернула вправо, пересекла тротуар и полосу заснеженного газона, и мы увидели кучера в профиль. Он носил густые усы, а на голове – темно-синюю фуражку с прямым, совершенно плоским козырьком. Сбоку повозки висел медный гонг, который мы уже слышали, и на зеленом ее борту блестели золотые буквы: «Больница Св. Луки». Повозка вкатилась в полукруглый проезд и остановилась у незнакомое большого здания, выходящего одним длинным крылом на Пятьдесят пятую улицу; это и была больница. Странное зрелище – больница здесь, на Пятой авеню, и я подумал о больных, за которыми присматривают сестры в длинных юбках и бородатые доктора. Тихо, чтобы не привлечь внимания возницы, я поделился своими мыслями с Кейт, и она прошептала в ответ:

– Врачи и сестры, которые и слыхом не слыхивали о таких вещах, как пенициллин, антибиотики и сульфамиды...

Я не мог припомнить, касался ли этой темы Мартин Лестфогель; интересно все же, есть ли тут в больнице хотя бы анестезирующие средства?

В окне дома на углу Пятой авеню и Пятьдесят третьей улицы я заметил вывеску: «Школа танцев Аллена Додсуорта», а затем мимо нас скользнули два старых знакомя. Первый на углу Пятьдесят второй улицы – один из вандербильтовских особняков. Вспомнилось, что когда-то, мальчишкой, я приехал в Нью-Йорк с отцом и мы стояли и смотрели, как сносят этот особняк, чтобы освободить площадку для Кроуэлл-Коллиер-билдинг. Тогда дом был старый, грязный, облезлый и обшарпанный; теперь он предстал перед нами юным, в сиянии чистого белого известняка, а через улицу от него размещался Католический сиротский дом призрения. Еще квартал – и мы встретили настоящего доброго друга. Приближаясь к нему, мы расцвели улыбками, и Кейт прошептала:

– Я так рада... Я просто счастлива видеть его.

Я кивнул:

– Ради одного того, что вот он цел и невредим, я почти готов обратиться в католичество...

Потому что он стоял там же, где всегда, – старый друг, славный серенький собор Св. Патрика; он казался огромным, намного выше окружающих домов, но был точно таким же, как и сегодня, – нет, не совсем таким же, была какая-то разница... Какая? Я прижался лбом к стеклу, вывернул голову, глядя вверх, и понял, что два шпиля-близнеца – нет, не исчезли, конечно, но еще не построены.

Омнибус остановился, открылась дверь. Вошел человек, опустил монету в жестяную коробку и уселся на скамейку напротив, скользнув по нашим лицам равнодушным взглядом. Положил ногу на ногу и принялся смотреть в окно. Хлопнули вожжи, и мы снова тронулись в путь, – а я все следил за ним исподтишка и ощущал волнение, тревогу, почти испуг от первого своего по-настоящему близкого соседства с живым человеком 1882 года.

Пожалуй, обыкновенный этот человек, с которым я никогда больше не встречался, оказался в некотором роде самым сильным впечатлением моей жизни. Он сидел, рассеянно уставившись в окно, в странном своем черном котелке с высокой тульей, поношенном черном полупальто и зелено-белой полосатой рубашке без воротничка, но с бронзовой запонкой у ворота – выглядел он лет на шестьдесят и был чисто выбрит. И я – это может прозвучать абсурдно, но я был зачарован цветом его лица: оно совершенно не походило на коричневатые-белые лица со старинных фотографий. Вернее, тип лица оставался тем же, только волосы, вылезающие из-под загнутых полей котелка, оказались черными с сединой, глаза – голубыми, уши, нос и свежевыбранный подбородок – розовыми с мороза, а морщинистый лоб поражал своей бледностью. Ничего в нем не было особенного, и ехал он невеселый, усталый, скужающий. Но это был живой человек, внешне еще достаточно крепкий, полный сил и энергии, и ему, наверное, предстояли еще многие годы жизни. Я повернулся к Кейт и, почти касаясь губами ее уха, шепнул:

– Когда он был мальчишкой, в президентах ходил Эндрю Джексон. Господи, да у него на памяти годы, когда Соединенные Штаты были совершенно дикой, неисследованной территорией!

На углу Сорок девятой улицы мелькнула вывеска: «Пансион и школа для приходящих юных леди и джентльменов досточтимого Ч. Г. Гарднера с супругой». Потом мы проехали Сорок восьмую, и Кейт горячо прошептала:

– Вот он, номер пять-восемь-девять! – Я ничего не понял, и она зашипела на меня: – Дом Кармоди!..

Я обернулся и увидел большой красивый особняк из бурого песчаника, с богато разукрашенной оградой. Небезынтересно бы узнать, находился ли в его стенах в ту минуту Эндрю

Кармоди, который много лет спустя пустит себе пулю в сердце в городишке Джиллис, штат Монтана...

По мере нашего продвижения к центру города Пятая авеню становилась все более и более оживленной. Толпы народа сновали по тротуарам, пересекали мостовую. А я смотрел на них – сначала с трепетом, потом с восторгом: на бородатых, помахивающих тростями мужчин в блестящих шелковых цилиндрах, в меховых шапках вроде моей, в котелках с высокой тульей, как у пассажира напротив, или с низкой – это у молодежи. Почти все они ходили в длинных, до пят, пальто или шинелях, добрая половина мужчин носила пенсне, а когда те, что постарше, встречали знакомых, то неизменно подносили трость к полям цилиндра. Женщины носили шали или шляпы с шелковыми бантами, завязанными под подбородком, короткие приталенные зимние пальто с отрезными подолами, пелерины или заколотые брошью кашне; у некоторых были муфты или перчатки, и у всех без исключения – ботинки на пуговицах, мелькающие из-под длинных юбок.

Вот они, вот они – люди со старых, застывших гравюр, только... только теперь они двигались. Пальто и платья там, на тротуарах и на мостовой впереди и позади нас, сияли свежими вишневыми, зелеными, синими, густо-коричневыми, невыцветшими черными тонами, и длинные складки переливались светом и тенью. Кожаные и резиновые подметки оставляли следы на мокром снегу перекрестков, и облачка пара в холодном воздухе делали видимым дыхание каждого из этих людей. Сквозь вздрагивающие, дребезжащие стекла до нас долетали живые голоса; я услышал даже громкий девичий смех...



Рис. 3

На протяжении двух кварталов к нам в омнибус сели пять-шесть пассажиров: мужчина при цилиндре и в пенсне, за ним еще несколько человек, а затем, у одной из Сороковых улиц, вошла женщина и прошествовала вперед к кассе, махнув длинным подолом по нашим ногам.

На ней была фетровая шляпка с цветочками, простое черное пальто, длинное светло-зеленое кашне, завязанное вокруг шеи, а из-под пальто выглядывал подол пурпурного платья. На вид я бы дал ей чуть больше тридцати, и по первому впечатлению, когда она прошла мимо нас, мне хотелось назвать ее красавицей. Но вот монета звякнула о дно коробки, она повернулась и села немного впереди нас. Рисунок, приведенный здесь (рис. 3), сделан мною по памяти. Теперь я разглядел лицо вошедшей и поспешно отвел глаза, чтобы не оскорбить ее; лицо оказалось изрыто десятками оспин, и я сообразил, что оспа все еще оставалась распространенной болезнью. Другие пассажиры не удостоили женщину ни малейшим вниманием.

Мы проехали мимо гостиниц «Виндзор» и «Шервуд», затем мимо постройки под названием «Старый ивовый коттедж» – вывеска в готическом стиле была растянута на всю ширину фасада. А сама постройка была деревянная, совершенно допотопной архитектуры – со ставнями и широкой верандой, на которую вели, словно в сельскую лавочку, несколько крутых ступенек. Перед фасадом прямо на тротуаре росло большое дерево, пешеходы волей-неволей огибали его, и выглядел «Старый ивовый коттедж» так, словно относился к колониальным временам ⁸.

Рядом на этой несусветной Пятой авеню располагался Торговый дом Генри Тайсона – по-видимому, просто мясная лавка.

В этот миг Кейт тронула меня за руку и хмуро повела головой.

– Сай, с меня хватит. Слишком много впечатлений. Я хотела бы... хотела бы спрятаться куда-нибудь и закрыть глаза.

– Понимаю. Как не понять...

Омнибус приблизился к тротуару. Я поманил Кейт, и мы сошли как раз рядом с двухколесной пролеткой, ожидавшей седоков.

Открыв дверцу, я помог своей спутнице вскарабкаться внутрь. Когда я сел с нею рядом, голова у нее была откинута, веки смежены. Над нами что-то зашумело – я посмотрел вверх и увидел, как в крыше сдвинулась маленькая панель, образовалось квадратное окошечко и в нем появился глаз, половина второго глаза, покрасневший от холода нос и часть больших обвислых усов.

– К Главному почтамту, – сказал я, вынул часы, нажал кнопку и, откинув крышку, бросил взгляд на циферблат. Было почти пять. – За полчаса довезете?

– Почем я знаю, – ответил извозчик с отвращением, цокнул языком и дернул поводья. Мы выбрались на середину улицы. – Движение нынче что ни день, то хуже, никогда теперь ничего не знаешь. Попробуем – может, еще проскочим вниз по Пятой до Вашингтон-сквер. А там свернем к Бродвею и минуем эту чертову надземку – извините, мадам, за грубость...

Я тоже откинул голову на подушки и закрыл глаза. Я уже насмотрелся вдоволь, места для новых впечатлений почти не осталось. Но когда панель в крыше задвинулась, я не сдержал улыбки: все-таки Нью-Йорк во все времена останется Нью-Йорком.

⁸ Имеется в виду период до 1776 года, до начала американской революции. Нью-Йорк (под названием Новый Амстердам) основан в 1626 году, а современное название носит с 1664 года.

10

Цок-цок, цок-цок... Медленно, ритмично били копыта по плотно утрамбованному снегу, чуть громче и звонче – по булыжнику, и цокот их действовал успокаивающе, как и мерное, с легкими толчками, покачивание пролетки на рессорах. Я начал приходить в себя, кое-как совладав с избытком впечатлений, и время от времени даже открывал глаза.

Затем я услышал в отдалении исступленный звон колокола, он нарастал с каждым ударом, а когда мы пересекали Тридцать третью улицу, достиг прямо-таки сумасшедшей силы. Кейт судорожно выпрямилась, а я повернулся и увидел, как прямо на нас несется упряжка огромных белых скакунов с развевающимися гривами; оглушительно стуча подковами, они везли красную с бронзой пожарную машину, кучер изо всех сил хлестал кнутом, и за повозкой стлалась плоская лента белого дыма, как за кораблем. Наш извозчик стеганул своего коня и дернул поводья, чтобы убраться подобру-поздорову с дороги. Пожарная машина промчалась через Пятую авеню, сверкая красными с позолотой спицами, и все кучера и ездовые натягивали вожжи, уступая дорогу. Через четыре-пять кварталов мы опять услышали тот же звук, теперь уже с другой стороны, и я сообразил, что Нью-Йорк 1882 года, город деревянных балок, перекрытий и стен, освещается и отапливается открытым огнем.

Движение становилось все гуще и гуще. И вдруг мы с Кейт резко столкнулись, пролетка притормозила и юзом пошла к тротуару. Дернувшись, проехала еще чуток, я услышал яростную ругань извозчика, опустил окно и высунул голову; шум на улице стоял невообразимый.

Мы были у перекрестка Пятой авеню с Бродвеем, и экипажи со стороны Бродвея вливались в наш поток, что еще представлялось возможным, или пытались пересечь его, что выглядело просто невозможным. Каждый экипаж, за редким исключением, имел по четыре колеса, на каждом колесе имелись железные ободья, грохочущие и скрежещущие по булыжной мостовой, и у каждой лошади – четыре подкованных, грохочущих копыта, а об управлении движением никто и не помышлял. Стучали, сталкиваясь друг с другом, колеса, стонало дерево, трещали цепи, скрипела кожа, кнуты шелкали о лошадиные бока, люди кричали и ругались, и вообще ни одна из улиц, какие случалось мне видеть в XX веке, не была и вполтину так шумна, как эти.

Наконец мы пробились через перекресток, и подковы мерно зацокали дальше по Пятой авеню.

– Надо бы светофоры поставить! – крикнул я извозчику.

– Чего-чего?

– Поставить сигнальные огоньки, чтоб регулировать движение, – сказал я, но он, естественно, смерил меня недоуменным взглядом и притворил окошечко в крыше.

Главный почтамт занимал треугольный участок напротив сада ратуши, там, где в Бродвей вливается улица Парк-роу. Пока мы с Кейт шли до центрального подъезда, нас разбирал смех: здание было такое нелепое – сплошные окна да декоративные колонны, поднимающиеся на все пять этажей до самой крыши, а на крыше разместились башенки, обшитые кровельной дранкой, чугунные перила, пузатый купол и еще флагшток, на котором реял длинный остроконечный штандарт с надписью «Почта».

Внутри здания оказались кафельный пол, медные плевательницы, темное дерево, матовые стекла и газовый свет. Мы обнаружили исполинскую панель с вычурными прорезями для писем и подле каждой прорези таблички: «Центр», «Бруклин», «Стейтен-Айленд», «Пригородный район»⁹; особые прорези предназначались для писем, адресованных в каждый штат и каждую территорию, а также в Канаду, Ньюфаундленд, Мексику, Южную Америку, Европу,

⁹ Современный Нью-Йорк делится на пять основных районов: Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Куинз, Стейтен-Айленд.

Азию, Африку и Океанию. Позади этой исполинской панели скрывалась еще стена с тысячами личных пронумерованных почтовых ящиков. Было уже больше половины шестого; мы с Кейт заняли позиции по обе стороны панели и стали ждать.

В течение ближайших пятнадцати минут человек пятьдесят, в основном мужчины, подходили к панели и бросали письма, и надо было видеть выражение удивления и отвращения, застывшее на лице Кейт. Ибо чуть ли не каждый, не прерывая шага, издали сплевывал густую слюну, коричневую от жевательного табака, и старался на ходу попасть в какую-нибудь из десятков больших плевательниц, расставленных по залу. Некоторые были снайперами, поражали цель точно и звучно и проходили дальше, донельзя довольные собой. Другие промахивались сантиметров на тридцать и более, и, как только глаза привыкли к тусклому освещению, мы увидели, что кафель сплошь заплеван; Кейт нагнулась и, прихватив юбку пальцами, брезгливо приподняла подол.

Минута шла за минутой, а мы все ждали; людской поток втекал в зал и вытекал из него, беспрерывно поскрипывали и хлопали на петлях створки прорезей для писем. Я был уверен, что Кейт, как и я, мысленно держит в руках голубой конверт с обожженным углом и последними словами самоубийцы. Предстояло ли нам сейчас увидеть его снова? Может статься, и нет: отправитель с равным успехом мог опустить его в один из наружных ящиков. Не успел я додумать мысль до конца, как во мне созрело убеждение, что именно так оно и было и что мы никогда уже не увидим «отправку сего» – письма, которому надлежит «иметь следствием гибель... мира».

Но тут он появился: ровно без десяти шесть по стенным часам он протиснулся через тяжелые двери зала. Вот он приблизился – быстрой, целеустремленной походкой, типичный Джон Буль с черной бородой и выпирающим животом, и во мне вдруг вспыхнуло такое волнение, что на какую-то долю секунды я буквально ослеп. Он шел по необъятному кафельному полу и, казалось, заполнял его собою целиком, шел прямо на нас, сжимая в волосатой правой руке тонкий, длинный голубой конверт. Низкая плоская шляпа самодовольно сидела на самой макушке, полы расстегнутого пальто разметались от быстрой ходьбы, и из-под пальто рельефно и воинственно выпячивался живот. Голова его была запрокинута, так что жесткая борода торчала прямо вперед, словно он бросал вызов всему миру; в углу рта, приподняв губу, висела сигара, и создавалось впечатление, будто он огрызается.

Это был внушительный, запоминающийся человек, он не замечал меня, да и никого вокруг; злые карие глазки его смотрели прямо перед собой, он был поглощен своими заботами, своими помыслами, важностью того, что вознамерился совершить. И наконец мы пережили миг, ради которого явились сюда из другого времени.

Он поднес длинный голубой конверт к медной прорези с табличкой «Центр», и на мгновение я увидел знакомую лицевую сторону. Увидел странную, немного вкось наклеенную зеленую марку – вспомнил ее со штампом гашения и увидел наяву неправдоподобно чистой; увидел выведенный с характерным наклоном адрес: «Эндрю У. Кармоди, эсквайру. Пятая авеню, 589» – вспомнил старые, выцветшие чернила и увидел наяву свежие, черные. Край конверта, необгорелый и запечатанный, протолкнул медную створку прорези внутрь, рука разжалась, блеснул бриллиантовый перстень. И голубой конверт исчез, чтобы начать свой таинственный путь в будущее, лишь слегка покачивалась в прорези медная заслонка.

А человек тем временем повернулся на каблуках и удалялся быстрыми шагами, и... собственно, мы увидели все, что хотели, – но не могли же мы позволить ему просто уйти и навсегда исчезнуть в ночи. Не сговариваясь, Кейт и я последовали за ним.

Мы протиснулись в дверь – на улице уже стемнело. Человек, за которым мы следовали, повернул к северу, туда, откуда мы недавно пришли. За краем тротуара почти в полной темноте лежал Бродвей, все еще шумный, хотя движение значительно спало. Теперь на мостовой видны были лишь какие-то неясные очертания да разрозненные движущиеся тени. Иногда в свете

фонарика, качающегося на оси фургона, мелькали веера забрызганных грязью спиц, но сама повозка, кучер и упряжка тонули во мраке; или же блестели серебристая дверная ручка и трясущийся полированный кузов кареты, освещенные боковым фонарем, – и опять-таки больше ничего. И по ту сторону улицы в окнах и подъездах нигде не было света, виднелись только очертания дверных и оконных проемов, смутно вырисованные горящими вполсилы ночниками. Мимо нас спешили пешеходы – вероятно, запоздавшие конторские служащие; тусклые уличные фонари на мгновение вырывали их лица из тьмы, окрашивали желтизной – и тут же эти лица вновь бледнели и исчезали до следующего фонаря.

Кейт крепче ухватила за мою руку, прижалась ко мне – я понимал ее состояние. Незнакомая, мглистая улица, где железо все еще грохотало по булыжнику; мрак, прерываемый квадратами, прямоугольниками, конусами неяркого света, самый оттенок которого был непривычен, – все это, пожалуй, пугало и меня. И тем не менее – господа, подумать только, мы здесь, среди таинственно торопливых, едва различимых в ночи людей! – теперь я знал наверняка, что Рюб Прайен сказал правду: это действительно самое увлекательное приключение на свете.

У очередного фонаря мужчина внезапно шагнул к обочине и сошел с тротуара на мостовую. Он остановился в слегка трепещущем круге желтого света и стоял на булыжнике, выпятив живот, сдвинув блестящую шляпу на затылок; нас он по-прежнему не видел, вертел головой то туда, то сюда – так ведут себя люди, нетерпеливо высматривающие омнибус в потоке экипажей. Мы волей-неволей продолжали идти, чуть замедлив шаги, и, когда поравнялись с ним, он еще раз взглянул вдоль улицы и порывисто кинулся назад на тротуар.

– Омнибус? – произнес он вслух вопросительно, будто сам себе удивляясь. – Ни к чему мне теперь ждать омнибуса!..

Он вернулся на тротуар, а мы с Кейт устремили взоры на мостовую, притворяясь, будто не обращаем на него ни малейшего внимания. Далеко он не ушел – на ближайшем углу выстроились в ряд четыре-пять извозчиков, и он быстрыми шагами приблизился к первому в очереди.

– Домой! – бросил он звонко и радостно, потянувшись к дверце. – До самого дома с шиком!

– И где же это ваш дом? – язвительным тоном спросил извозчик, нагибаясь с открытого облучка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.